

[Polaris]

В. КУЛИКОВСКИЙ



В ДНИ ТОРЖЕСТВА
САТАНЫ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLVIII



Salamandra P.V.V.

В. КУЛИКОВСКИЙ

**В ДНИ
ТОРЖЕСТВА
САТАНЫ**

Роман

Salamandra P.V.V.

Куликовский В. Я.

В дни торжества сатаны: Роман. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 180 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLVIII).

Укрывшись со своими приверженцами на неведомом острове, американский миллиардер наблюдает апокалиптическую картину охватившего мир коммунистического безумия, кровавых революций, бунтов, голода и нищеты. Но безмятежную жизнь островитян вскоре нарушает появление русской красавицы и ее загадочного брата...

Антиутопия В. Куликовского «В дни торжества сатаны» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений русской эмиграции.

В ДНИ ТОРЖЕСТВА САТАНЫ

...Завершится круг времени. И прорвется страшная болезнь из породившей ее страны по прямой линии на Запад к Океану. И поразит все народы и все страны... воцарятся повсюду ненависть, злоба, голод, мор и чума, смерть и разрушение войдут в мир и города будут пусты....

И восторжествует сатана...

(из предсказания давнего о современных событиях).

ГЛАВА I

Сегодня у меня опять припадок необычайной, мучительной тоски. Как и всегда, он наступил внезапно, без всякого видимого повода и, конечно, так же внезапно и беспричинно исчезнет. Но когда? Через несколько часов, завтра, через неделю? Почему я знаю... Весь вопрос в том, когда отвратительный Демон Уныния наскучит пребыванием в моем теле. Я не могу понять, что заставило этого господина последние годы заинтересоваться моей брэнной оболочкой и избирать ее по временам своей резиденцией. По моему всегдашнему глубокому убеждению, ни мое духовное, ни, тем более, мое физическое «Я» никогда не обладало ни одним из тех свойств, которые могли бы сыграть роль магнита для моего назойливого гостя.

Я — человек сильной воли и сильного здоровья, организм мой не надломлен никакими болезнями, я не страдаю неврастением; наследственность у меня прекрасная; я никогда не знал лишений, всегда был глубоким оптимистом и последние тридцать лет моя борьба с жизнью была не борьбой за существование, а рыцарским турниром. Я ломал на этом турнире свое копьё не за право жить, а за право стоять на самой высокой ступени той лестницы, которая именуется «общественным положением человека». Не мо-

гу не сознаться, что вначале, при первых моих выступлениях на арене жизни, победа на этих турнирах далеко не всегда склонялась на мою сторону: наоборот, довольно часто я терпел поражения и, вылетая из седла, шлепался на землю так основательно, что потом долго приходилось отлеживаться. Иногда, правда очень редко, я даже окончательно падал духом. В такие моменты я говорил себе: «Милый Джон! Бросьте эти затеи. Уверяю вас, вам никогда не удастся сделаться хорошим бойцом и роль паладина вам не по плечу. Если из вас выйдет сносный оруженосец, то и за это благодарите Небо». Но переставали ныть ушибы, заживали увечья — я снова садился в седло и бросался в поединок.

Помню, в юности я очень увлекался романами и описаниями, посвященными жизни и деяниям короля Ричарда—Львиное Сердце. Он был моим любимым героем. Я захлебывался от восторга, читая и перечитывая дифирамбы его боевым подвигам и поединкам. Когда я представлял себе, как этот рыцарь-король, закованный в вороненные латы, выбивал на турнире, под восхищенные возгласы первых красавиц королевства, своих противников из седел или как он одним могучим ударом своего двуручного меча рассекал в бою сарацина вместе с его конем — сердце мое замирало от восхищения. Слава! Что может быть лучше славы? — думал я.

Я завидовал моему герою и в глубине сердца твердо решал, что единственным кумиром, которому я буду поклоняться всю жизнь, будет Слава. Но пример все того же моего излюбленного героя ясно показывал, что слава даже королям дается нелегко и что заслужить ее можно, во всяком случае, лишь путем тяжелой и упорной борьбы. И я решил бороться.

Правда, здравый смысл семнадцатилетнего американского клерка твердил мне, что рыцарство давно умерло и отжило свой век, что в двадцатом столетии выбивать из седел джентльменов без всякой вины с их стороны не только смешно, но прямо-таки неприлично; что, разрубив кого-либо от макушки головы и до крестца двуручным мечом, ничего, кроме электрического кресла и общего презрения,

заслужить нельзя; что, впрочем, и этих доводов было вполне достаточно, чтобы убедить обладающего самой богатой фантазией клерка не следовать методам короля Ричарда для достижения славы.

Но все же... я искренне завидовал Львиному Сердцу.

Теперь, когда мне почти пятьдесят лет, когда жизнь осталась позади и впереди только беспросветный мрак, я совершенно отчетливо понимаю, что у меня не было никакого основания для подобной зависти.

Ричард поклонялся славе, как богу, совершенно забывая, что она, в сущности, вовсе не бог, а самая легкомысленная из женщин. И разве эта старая, тысячелетняя кокетка не изменила в конце концов своему верному поклоннику? Кто, как не она, заставила его броситься в авантюру крестовых походов? Кто, как не она, подвергла его унижениям позорного плена?

Кто-то сказал: «Слава — дым». А я говорю: «Нет, она даже не дым, ибо дым есть все же нечто вещественное, ве-
сомое. Слава — мираж». Это определение будет несравненно вернее. Несмотря на все, что случилось, я все же никогда не перестану благодарить Небо за то, что в свое время туман, окутывавший мои мозги, рассеялся и я понял, что в жизни есть лишь две вещи, достойные человеческого внимания и усилий. Это, во первых — деньги и, во вторых, достигаемое через них и посредством них, — могущество. А слава?.. Слава — чепуха. Это говорю я — бывший клерк фирмы «Торговый дом Бурбенк и Сын» в Нью-Йорке.

Я не король, не герцог, даже не князь. Я — Джон Гарвей, просто мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка.

У меня, повторяю, нет титула. Вместо него еще три года тому назад на моей визитной карточке, немного пониже фамилии, значилось самым мелким курсивом:

*Президент Всеамериканского синдиката соединенных
трестов: горнопромышленных, электрических и
железнодорожных.*

В течение пяти лет, имя Джона Гарвея было неотдели-

мо от этой надписи как на столбцах прессы, так и в умах представителей правительственной власти, финансистов и широкой массы населения. Эта надпись была моим титулом. Правда, он звучит не так громко, как титул хотя бы блаженной памяти императора австрийского. С этим я согласен. Но смею вас уверить — удельный вес его в Новом и даже в Старом Свете был куда значительнее.

Когда не отошло еще в область анахронизма понятие об Англии, как о стране с монархическим образом правления, о короле этой страны говорили: «Он царствует, но не управляет», а о президенте Соединенных Штатов: «Он не царствует, но управляет». Не могу не сознаться, что эти выражения были порождены чьей-то очень неглупой головой: одно маленькое слово «не», соответственно перемещенное, лучше всяких длиннейших трактатов объясняло сущность образа правления двух величайших мировых держав. Не знаю национальности автора этого замечательного изречения. Если он француз и не был удостоен места в Пантеоне — это величайшая несправедливость.

Да, повторяю, это чрезвычайно несправедливо. Я обижен за него. И еще более — за себя. Вы спросите — почему? Я попытаюсь вам изложить все как можно понятнее, но это не так просто. Да, не так просто, черт возьми!

Официально президент Соединенных Штатов был правитель с весьма ограниченной властью; неофициально, особенно в последние годы, он был почти самодержец; а еще более неофициально, его власть сводилась к нулю, *Nom de Dieu*, как говорят провансальцы. Какая путаница противоречивейших понятий! Есть от чего закружиться голове не только слабого, но и среднего человека. Тем не менее, я все-таки распутая для вас этот новый Гордиев узел.

Дело в том, видите ли... Ну, словом, я буду краток: как я уже говорил, президент Соед. Штатов неофициально управлял республикой почти неограниченно. А президентом республики управлял (уже совершенно неофициально) президент Синдиката соединенных трестов, т. е. ваш покорнейший слуга.

Если Людовик-Солнце говаривал: «Франция — это я», он был почти прав. Но если бы я три года назад на одном из торжественных приемов в Белом Доме заявил: «Америка — это я!» — то я был бы совершенно и абсолютно прав.

И, тем не менее, меня почти наверное сочли бы за сумасшедшего. Никто не поверил бы мне, как ни один из добрых англичан не поверил бы во времена монархии, что его король может что либо сделать по собственному усмотрению в своей стране. Да, мне никто не поверил бы. Никто, за исключением самого президента республики, да, пожалуй, еще нескольких членов Синдиката и правительства. Но, увы, — я думаю, что не они попытались бы убедить присутствовавших в справедливости моего заявления.

Вся жизнь не только в стране, но и на всей материке направлялась и регулировалась Синдикатом трестов. А деятельность Синдиката направлял и регулировал я. И я, мистер Джон Гарвей, бывший клерк фирмы «Торговый дом Бурбенк и Сын», фактически был единственным повелителем всего материка. Одним росчерком пера я мог остановить биение пульса жизни во всем Новом Свете. Десяток шифрованных телеграмм, — и всюду гаснет электрический свет, перестает подаваться вода; замирает транспорт, не добываются больше металлы и уголь; вследствие недостатка топлива и электрической энергии останавливается работа фабрик и заводов; население городов голодает, миллионы безработных угрожают государственному спокойствию...

Я надеюсь, — вам понятно теперь, кем был еще не так давно мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка? Слова остряка: «он не царствует, но управляет» — как вы ясно видите теперь, относились не к кому иному, как ко мне. Только Джон Гарвей мог с неоспоримым правом сказать: «Америка — это я!»

Какие праздные мысли! Милый мистер Джон: мне очень стыдно делать вам замечания, но я боюсь, что вы скоро вернетесь к уровню того умственного развития, которым обладал некогда клерк почтенного мистера Бурбенка. Всею виной отвратительный Демон Уныния. Что ему надо от меня? Поистине, наглость его не имеет пределов. Мало то-

го, что он является непрошенным — он распоряжается занятым не по праву помещением, как собственной, купленной на вечные времена паевой квартирой. Он распаковывает свои чемоданы и заполняет своими гнусными пожитками самые мельчайшие уголки экспроприированного им пристанища. Он отравляет своим ядовитым дыханием тончайшие извилины моего мозга и заставляет его работать так, как ему угодно.

Но, черт возьми — мы еще поборемся! Да, да, мой милый: я изобрету такие затворы, которые даже вам, всесветному пронире, помешают пробраться в помещение, которое столько лет было для вас недоступным. Это говорит не кто иной, как Джон Гарвей. А его в достижении намеченной цели никогда не смущали никакие препятствия.

Скучно... Все позади, — впереди никакого просвета. Очень скучно. Иду по тропинке, проложенной вдоль берега острова.

Тихо. На океане почти полный штиль. Чуть плещутся о мягкий песчаный берег едва заметные волны. Скучно...

Скучно и деревьям, застывшим в сонной дреме, скучно неподвижному воздуху.

— Скучно... Скучно... — слышится и в вялом чириканье одуревших от зноя птичек.

— Скуч-ч-чно... — шелестят о песок крошечные гребни вялой зыби.

Да, скучно.

Мне чего-то недостает, но я не могу определить, чего именно. Кажется, за эти годы я от всего отвык. Я смирил свое тело, свой дух. Не в моих правилах желать невозможного. Нет — у меня нет желаний. И все-таки мне чего-то не хватает.

Чего?

Неужели мне недостаточно того, что в дни величайшего торжества сатаны, в дни, когда он правит во всем мире свой кровавый свистопляс, я нахожусь за пределами круга Безумия и Смерти?

Поистине, человек — самое неблагодарное из творений. Поистине...

ГЛАВА II

Иду домой. Спускаюсь в нижний этаж моего коттеджа и ложусь на диван в кабинете. Стены его, как и прочих комнат нижнего этажа, почти целиком уходят под землю. Только верхняя четверть их возвышается над уровнем почвы. В этой части стены проделаны окна. В каждой комнате их два. Они имеют форму очень растянутых эллипсисов. Составлены они из больших кусков толстого кристаллообразного стекла желтого, красного, дымчатого и фиолетового цветов, соединенных бронзовым переплетом рамы.

Даже в самые знойные дни тропического лета в комнатах нижнего этажа всегда бывает прохладно. Комбинация стекол дает ровный, приятный для глаз свет, не слишком яркий, но вполне достаточный для чтения и писания на машинке. В минуты раздражения этот свет и прохладная температура комнат действуют на нервы лучше всякого успокоительного.

Рядом с кабинетом с одной стороны библиотека, — с другой — спальня. За спальней — ванная комната с бассейном и душем, в которые вода проведена непосредственно из океана. За библиотекой — столовая, курительная, а еще дальше — небольшая гостиная.

Я обставил все эти комнаты так, как это приличествует бывшему президенту Синдиката соединенных трестов. Я никогда не имел чести пользоваться гостеприимством кого-либо из монархов, но льщу себя надеждой, что обстановка моего подвала пришлась бы по вкусу всякому из них. Каждый день и каждый час благословляю я имя моего друга — архитектора Гюи Смита, который при постройке коттеджа подал мне идею устроить это недоступное для палящего бога тропиков убежище. Я воздвиг ему в моем сердце памятник таких размеров, перед которым знаменитая пирамида Хуфу кажется не больше простой крупинки гранита.

Я забыл упомянуть, что мой подвальный кабинет (а по миновании знойного периода кабинет в верхнем этаже кот-

теджа) является камерой, в которой концентрируется бие-ние пульса жизни всего подвластного мне острова. Если на секунду вы вообразите, что остров — живое существо, то его мозгом буду я; его нервами — телефонные провода, связывающие мой кабинет с радиостанцией, морской базой, комендатурой и советом старшин; его органами — только что перечисленные учреждения, а его мускулами — все остальное двухтысячное население.

Я же, повторяю — мозг. Я — неограниченный властитель.

Юлий Цезарь говаривал: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Этот старый интриган был миллион раз прав. И я не знаю, что для человечества более ценно: это ли изречение Цезаря, такое же жизненное сейчас, как и две с лишним тысячи лет тому назад, или его исторические труды о войнах с какими-то давно исчезнувшими галлами. Лично я изречение считаю куда выше.

И так как в силу некоторых причин, о которых вам будет рассказано как-нибудь впоследствии, я не могу быть первым в городе, т. е. на всем материке Нового Света, то я предпочитаю быть первым в деревне, т. е. на этом микроскопическом острове. Если ваши мозги, милостивые государи, еще не окончательно одурманены химерами о социальном переустройстве человеческих взаимоотношений — вы согласитесь со мной.

Итак, придя в свой «подвал», я лег на диван и развернул взятую наудачу из библиотечного шкафа книгу. Она оказалась сочинением одного из известных философов и трактовала «о непротивлении злу». Каждая строка, каждая буква этой книги убеждала, вернее, должна была убедить меня в том, что все мои поступки за последние три года были верхом глупости. Конечно, я поступил, как последний идиот, своевременно обратив в звонкую золотую монету все мое имущество и ценные бумаги; не более умно поступил я, перевезя это золото на мой остров. Без сомнения, мне не следовало делать ни того, ни другого — надо было спокойно смотреть на разграбление и уничтожение моего достояния и утешаться мыслью о «непротивлении злу». Конечно, только мое недоумие могло толкнуть меня

на путь тех логических выводов, которые я сделал благодаря внимательному наблюдению за событиями, разыгравшимися сперва в Старом, а потом и в Новом Свете в продолжении последних лет; ясно, что я не должен был делать этих выводов, а тем более подготавливать себе, на основании их, пути отступления. Я должен был все предоставить собственному течению, памятуя о «предопределении». Да, да, мистер Джон Гарвей: вы не имели ни малейшего права спасать ни себя, ни своих ближайших друзей, перевозя их на этот остров. Вы поступили, как невежда и неуч. Вы должны были спокойно дать усадить себя на электрический стул, дать усадить на такие же стулья своих друзей и в компании с ними и еще многими другими порядочными людьми, с кроткой улыбкой на устах и сладкими мыслями о «непротивлении злу», отправиться к своим высокоуважаемым предкам.

А вы? Уверяю вас, ваши деяния недостойны передового человека с умом философской складки. Впрочем, утештесь тем, что еще не поздно.

К вашему острову каждый день могут подойти несколько кораблей с обезумевшими людьми континента или даже просто — пиратами. Если вы, при виде приближающихся судов, прикажете убрать минные заграждения вокруг острова и дадите этим людям беспрепятственно высадиться на берег — ваша вина уменьшится наполовину.

Если вы позволите им разграбить все, что здесь имеется, если вы с сердцем, полным всепрощения, будете смотреть, как избивают ваших друзей и прочих обитателей острова, разделяющих ныне с вами вашу участь — ваша вина будет искуплена на три четверти. Если же, наконец, вы сами без протеста позволите надеть на себя веревку и, с любовью глядя на вешающих вас разбойников, взоветесь на сук одного из прекрасных эвкалиптов — ваша вина будет вполне искуплена.

Ха-ха! Любезнейший Демон Уныния — не находите ли вы, что вам пора укладывать свои чемоданы? Ибо когда человек смеется, то господам, подобным вам, нет места в его оболочке. Вы находите, что ваш отъезд был бы преж-

девременным? Ну, хорошо — прочтем еще несколько страниц.

О, мистер Джон Гарвей — чему вы смеетесь? Вы смеетесь над собственным невежеством.

Не огорчайтесь; у невежд есть одно неоцененное преимущество: они всегда могут говорить то, что думают, по той простой причине, что их репутация заранее оправдывает всякую, сказанную ими, глупость.

Я вижу, что у вас на языке вертится какой-то вопрос. Говорите смело. Что? Вас интересует, что сказал бы почтенный автор этой книги, проживши год-другой в России в эпоху коммуны? Ваш вопрос вовсе не так глуп, милый мистер Джон; но что сказал бы почтенный философ — я, право, не знаю. Только при чем здесь Россия? С таким же успехом вы могли бы спросить, что сказал бы автор книги, проживши последние три года в любой стране Нового или Старого Света.

А впрочем, все это скучно. Скучно... Так же скучно, как эта книга, как сама жизнь.

Звоню и приказываю явившемуся Джефферсону принести виски, содовой воды и самых крепких сигар. Джефферсон — мой дворецкий и камердинер. Он, да еще повар Гопкинс — это все, что у меня осталось от огромного некогда штата прислуги. Всех остальных я своевременно рассчитал.

Впрочем, если бы я этого не сделал, то они сами покинули бы меня. Я их не осуждаю — человек слаб и, конечно, видный, а главное, доходный административный пост или, может быть, даже «министерский» портфель говорит и сердцу и уму несравненно больше, чем должность выездного лакея или истопника.

В глубине души я очень удивляюсь Джефферсону и Гопкинсу. Впрочем — у каждого человека свои странности.

Благодарение Небу, близится время обеда. Сегодня буду обедать один — нет ни малейшего расположения к дружеским застольным беседам. Надо переодеваться. После обеда виски и сигары помогут мне скоротать время до появления исконного благодетеля всех смертных — Морфея.

ГЛАВА III

Сегодня проснулся с чувством приятного сознания, что мой надоедливый постоялец освободил меня, наконец, от своего присутствия. Очевидно, сильная доза виски с примесью едкого сигарного дыма и крепкий, продолжительный сон пришлись ему не по вкусу. Надо будет запомнить этот рецепт на будущее время.

Встаю на час раньше обыкновенного, чем немало удивляю Джефферсона.

Бедный Джефферсон! Если бы он знал, каким суровым испытаниям должна была сегодня подвергнуться его непоколебимая вера в то, что жизнь мистера Джона Гарвея на острове Старого Мира есть не что иное, как плавное вращение колеса, приводимого в движение безукоризненной, математически-точной машиной.

Впрочем, не знаю, кто был более поражен переменой, которую принес мне этот день — Джефферсон или я сам.

Удивительная вещь судьба. Нет, я неверно выразился: не судьба, а случай, «Его Величество Случай». Этот старый шалун иногда выкидывает с нами, жалкими обитателями не менее жалкой планеты, удивительные экивоки. Но, однако, — все по порядку.

Я, кажется, уже говорил вам, что встал в прекрасном настроении. От вчерашней тоски не осталось и следа и я совершенно не понимал, чего могло мне не хватать накануне в то время, когда я бродил по берегу океана. Я отлично выкупался в бассейне, окончил при помощи Джефферсона мой туалет и, одетый в легкий белый костюм, вышел в столовую. Я допивал уже кофе и намеревался позвонить Джефферсона и приказать ему подать мне трость и шляпу, как мой примерный слуга сам появился у дверей.

— Прошу прощения, сэр, что осмеливаюсь прервать ваш завтрак — сказал он как всегда почтительно.

— В чем дело, Джефферсон?

— Мистер Колльридж и мистер Стивенс просят разрешения видеть вас, сэр.

Это были мои ближайшие друзья — комендант острова и начальник морской базы.

— Хорошо, — сказал я, делая последний глоток, — попросите джентльменов в мой кабинет. Я сейчас выйду.

Через мгновение я уже пожимал руки военному и морскому министрам. Да, да, милостивые государи — моим министрам. Вы уже знаете, что я — некоронованный повелитель острова. Значит, у меня, как и у всякого главы государства, должны быть министры. Их у меня шесть: военный, морской, министр внутренних дел, министр финансов, продовольствия и общественных работ. Все они составляют упомянутый уже выше Совет Старшин и являются в то же время моими лучшими друзьями и постоянными соотрапезниками.

— В чем дело, друзья мои? — спросил я своих ранних гостей. — Вы пришли как раз вовремя. Опоздай вы на пять минут — вы бы уже не застали меня. Я собирался идти гулять. Случилось что-нибудь экстренное?

Я указал им на кресла и, сев сам, пододвинул моим гостям ящик с сигарами.

— Совершенно верно, — ответил Колльридж, — случилось нечто исключительное.

— Именно?

— Двадцать минут назад мне сообщили с наблюдательного поста номер три, что на горизонте в направлении N. N. W. показался столб густого черного дыма. А что дым может появиться на океане только из труб какого-либо судна — это вряд ли подлежит сомнению.

— Мне кажется, — ответил я, улынувшись, — что вы не очень ошибаетесь, дорогой Колльридж. И что же вы сделали?

— Я сообщил об этом начальнику морской базы и, попросив его немедленно прибыть на пост номер три, отправился туда же.

— И вы увидели?..

— Мы видели столб дыма, прямо поднимавшийся к небу. Судя по тому, что столб этот, оставаясь на одном и том же месте, становился в то же время выше и рельефнее, — мы все, наблюдавшие за ним, сделали один и тот же вывод.

— Какой?

— Что судно держит курс прямо на наш остров.

— Ваши выводы очень логичны, господа. Но я все же не понимаю, причем тут необыкновенно серьезное выражение ваших лиц?

Я очень часто люблю прикидываться непонимающим и с удовольствием наблюдаю, как мой полусутоливый тон и наивное выражение лица выводят из себя пришедшего по важному делу собеседника. Я согласен с вами: такие приемы в серьезном деловом разговоре, пожалуй, и неуместны. Но, милостивые государи, у всякого правителя свои капризы. А на этом острове я, хотя и не коронованный, но все же — монарх. Я не без удовольствия заметил, что голос Стивенса, моего доброго, милого Стивенса, заметно вибрировал, когда он начал говорить.

— Простите, мой друг, — сказал он, — но вы, вероятно, не вникли в суть нашего сообщения. К острову приближается какое-то судно...

— Что же из этого? — сказал я. И, следя за тем, как кольцо сигарного дыма, проплыв полкомнаты, повисло на одном из оленьих рогов, украшавших стену кабинета, прибавил:

— Прекрасное кольцо, не правда ли, господа? Я думаю, что в свое время я мог бы получить за проделанный только что фокус весьма солидный куш от повелителя правоверных — падишаха. Вы не находите?

Однако, вместо того, чтобы разразиться похвалами моему искусству, оба мои собеседника стали еще серьезнее.

— Вы знаете, — насколько мог вразумительнее произнес Колльридж, — что мы не можем ждать со стороны океана гостей, а тем более друзей. Одно из двух: или на континенте, неизвестно каким образом, узнали о существовании этого острова и его обитателях, — или — один из бесчислен-

ных разбойничьих кораблей идет сюда в поисках безопасной и удобной базы. И в том и в другом случае ничего хорошего для себя от этого визита мы предвидеть не можем.

Я швырнул недокуренную сигару в камин, поднялся с места и уже совершенно серьезно сказал:

— Друзья мои — идемте на наблюдательный пост...

Оба встали и я видел, как просветлели их лица.

Игра была кончена. Пришла пора действовать.

ГЛАВА IV

Остров «Старого Мира» был несомненно вулканического происхождения. Скорее всего даже, он представлял собою гигантский, давно потухший вулкан. Когда-то, в миоценовую или третичную эпоху, он, вследствие деформаций земной коры, опустился под поверхность океана. Там в течение многих тысяч лет его исполинское жерло затягивалось постепенно песком и илом.

В один прекрасный день, вследствие нового подземного переворота, вулкан опять вынырнул из океана и образовал на его поверхности одинокий остров. Это не моя теория. Она принадлежит одному из моих подданных — известному геологу. Думаю, что он не ошибается: слишком характерна идущая вокруг всего острова высокая горная цепь и лежащая внутри него котловина.

Остров имеет вид высокой, конусообразной горы с приущей всем вулканам срезанной верхушкой. Котловина с моря совершенно невидима. Для того, чтобы ее обнаружить, надо взобраться на самый перевал горного хребта.

В разных местах этого хребта возвышались четыре пика. На трех из них были наблюдательные посты, на четвертом, самом высоком — станция радио-телеграфа. Все главные пункты острова были соединены телефонной сетью.

Да, милостивые государи — все в моем маленьком царстве было оборудовано по последнему слову науки и техники. Я по справедливости мог гордиться своими владениями и у меня не было ни малейшего желания уступать их кому бы то ни было, — будь это военная эскадра одного из красных государств или просто корабли рыскавших теперь по всем морям интернациональных пиратов.

Подымаясь в плавно скользившей вагонетке лифта на вершину горного пика, служившего наблюдательным постом, мы продолжали обмениваться мыслями.

Отличное расположение духа все еще не покидало меня и я почему-то был почти уверен, что встревожившее нас своим появлением судно пройдет мимо острова и не доставит нам никаких огорчений. Я напомнил, что за эти три года нам несколько раз приходилось наблюдать появление на горизонте судов, которые по неизвестным причинам отклонялись далеко к югу от линии пароходных рейсов. Однако, все они проходили на очень дальнем от нас расстоянии.

Но Колльридж не разделял моих светлых надежд. Удивительно мрачный человек этот Колльридж!

— Милый Джон, — сказал он, — когда вы, наконец, излечитесь от вашей отвратительной привычки смотреть на все в жизни сквозь розовые стекла? Я с грустью убеждаюсь, что даже события последних лет не исправили вас в этом отношении.

Я хотел возражать, но меня предупредил Стивенс. Против всякого ожидания, он поддержал меня.

— Зато вы, Колльридж, — сказал он, — всегда и на все смотрите через самые темные очки. Я думаю, что наш друг прав. Подумайте сами: остров находится в 450 милях от линии пароходных рейсов и не менее чем в 1000 милях от ближайшего населенного архипелага. Он даже не обозначен ни на одной из морских карт. Кому нужно сюда ехать, с кем здесь воевать, или кого здесь грабить?

— Так, так — кротко вздохнул Колльридж. — Но ведь набрел же на этот остров несколько лет тому назад наш друг? Не так ли?

— Меня занес сюда тайфун, — сказал я, — тайфун, мой милый Колльридж.

— Если вас занесла сюда буря, бушевавшая на океане, то почему, скажите на милость, другой корабль не может быть занесен сюда бурей человеческих страстей, которая вот уже пятнадцать лет бушует во всем мире?

Нет, — он положительно неисправим, этот Колльридж! Неужели он прав на этот раз?

.
.

Одного взгляда с площадки пика, на которой помещался наблюдательный пост, было достаточно, чтобы убедиться, что Колльридж был прав. Прав, но не совсем: дымовых столбов было не один, а два. Что эти дымки принадлежали не одному судну, а двум — явствовало из того, что второй из них подымался к небу не так высоко, представлялся более туманным, а главное — находился значительно правее и дальше первого. Но как тот, так и другой держались неизменно в створе острова и с каждой минутой становились рельефнее и выше.

Сомнения не было: оба судна держали курс прямо на нас и шли, безусловно, полным ходом. Правда, самих судов не было видно даже в необыкновенно сильную, почти телескопической мощности, трубу; следовательно, и остров им еще не был виден. Зато не подлежало сомнению, что если суда не изменят курса и будут продолжать идти тем же ходом — они не позже чем через четыре часа окажутся непосредственно в виду острова.

Что несли нам эти суда? Безусловно, ничего хорошего. В худшем случае нам предстоит бой, в лучшем — тайна нашего пребывания на острове будет открыта и нам рано или поздно придется искать нового убежища. Искать! Легко сказать, но где? Ведь весь мир заражен безумием и всюду человечество истребляет друг друга.

Я повернулся спиной к морю и посмотрел вниз на обширную зеленеющую котловину. Я увидел маленький, бес-

конечно дорогой и близкий моему сердцу городок — порождение моей, воплотившейся в жизнь, идеи; я увидел правильные квадраты его кварталов, пересеченные ровными линиями улиц и переулков; увидел тонущие в роскошной зелени тропических деревьев маленькие, ослепительно белые под лучами утреннего солнца коттеджи с зелеными крышами; маленькую церковь на площади; зеркало искусственной бухты, соединенной подземным туннелем с океаном; темные, отливающие сталью спины покоящихся на ее водах субмарин, напоминавших сейчас огромных дремлющих китов; воздушное, в мавританском стиле, здание Совета Старшин; электрическую и водопроводную станцию, мельницу, мой собственный коттедж...

Я перевел глаза на зеленеющие луга с пасущимся на них племенным скотом и гуртами баранов во много сотен голов; я взглянул на фруктовые сады, на ананасные и рисовые плантации, на волнующиеся под дуновением легкого ветерка золотисто-желтые поля пшеницы и майса...

Я увидел все это и сердце мое сжала тяжелая безысходная тоска. Неужели все, все, что создал в течение последних лет путем невероятной затраты энергии и напряжения воли, должно теперь погибнуть? Неужели и в этот благословенный райский приют ворвется смрадное дыхание человеческого безумия и ненависти? Неужели и этому, единственному уцелевшему до сего времени уголку Старого Мира суждено утонуть в крови и насилии?

Никогда!

Джон Гарвей, — мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка — пришел час, когда вы снова должны садиться в седло и на этот раз уже не для блестящего турнира, а для ужасного поединка на жизнь и смерть. Наденьте самые прочные латы и выберите самое крепкое копьё. Пусть ваши шенкеля приобретут крепость стали, глаза — точность микрометра, а рука — быстроту молнии и силу Самсона. Помните, вам предстоит не турнир, а смертный поединок. Если вас выбьют из седла, вам больше никогда не подняться с земли — кинжал победителя проткнет ваше горло, как спелую тыкву.

Я подавил волнение. усилием воли придал своему лицу всегдашнее спокойно-насмешливое выражение и повернулся к моим друзьям.

— Полковник Колльридж, — спросил я, — все ли готово у вас для обороны острова?

— Все, сэр, — вытянувшись, ответил он.

— А у вас, адмирал Стивенс?

— Все, сэр, — как эхо, повторил моряк.

На маленькой, замаскированной со стороны моря площадке пика не было более людей, связанных многолетними узами дружбы. Здесь был неограниченный повелитель и покорные исполнители его воли.

— В порядке ли поля минных заграждений?

— В полном, сэр. Я только вчера выходил в море для проверки их.

— А субмарины и их минные аппараты?

— Готовы к действию каждую секунду.

— Если суда не переменят курс и будут явно приближаться к острову — я попробую выйти в море и уничтожить их минной атакой с субмарин. В случае же неудачи...

— Они взорвутся на минных заграждениях, — докончил Стивенс.

В напряженном ожидании прошло два часа. Теперь в трубу были уже ясно видны оба судна. Однако, даже острое зрение Стивенса не могло еще различить такелажа кораблей, которые шли теперь в строгом кильватере.

Еще через час, взглянув снова в направлении неприятеля, мы все трое радостно вскрикнули: шедшее впереди судно неожиданно и очень круто легло на правый галс и пошло параллельно острову. Это был огромный пассажирский пароход — в трубу видны были все характерные детали его такелажа. Почти одновременно с первым и второе судно изменило свой курс и пошло по тому же направлению. Оно оказалось большим военным крейсером очень быстроходного типа.

Расстояние между обоими судами было еще очень значительным, но крейсер быстро сокращал его.

— Пусть меня повесят, — с волнением в голосе сказал не отрывавшийся от подозрительной трубы Стивенс, — если этот крейсер не пиратское судно, преследующее свою добычу. Обратите внимание на то, как он сокращает расстояние и на то, как «купец» задымил весь горизонт. Он жжет уголь, как сумасшедший. Но ему все равно не уйти.

— Я думаю, что вы правы, дружище, — согласился я, наблюдая гонку в сильный бинокль.

Почти в то же мгновение до нас долетел глухой звук далекого пушечного выстрела. Крейсер давал купцу сигнал остановиться. В ответ на это из труб шедшего впереди судна повалил еще более густой и еще более черный дым.

— Черт побери! — воскликнул вне себя комендант. — Если бы я не был уверен в своем здравом уме, я прозакладывал бы свою голову за то, что вижу все это на экране кинематографа.

— Картина, во всяком случае, не совсем обычная, — согласился я и прибавил:

— «Плеззиозавр» в исправности?

— В полнейшей, — ответил Стивенс.

— В таком случае передайте в базу, что через четверть часа я выйду на нем в море.

— Что вы хотите делать?

— Я не могу допустить, чтобы тысячи невинных людей погибали на моих глазах, — ответил я.

— Но... — как то нерешительно сказал Колльридж, — но...

— Но?

— Я держусь того мнения, что когда два волка грызут друг другу горло — не следует вмешиваться в их распрю.

— В данном случае я вижу только одного волка, Колльридж. Другой, скорее всего, походит на овцу.

— Мне кажется, что это волк в овечьей шкуре, — упрямо возразил Колльридж. — Смею вас уверить, что девяносто девять процентов пассажиров этого парохода такие же негодяи, как и люди, составляющие команду крейсера. Если они грабят и топят друг друга — тем лучше.

— Мое мнение несколько иное, Колльридж. Я полагаю, что если на пароходе имеется хотя бы десяток порядочных людей, то ради них стоит спасти тысячи негодяев.

Звук нового выстрела, на этот раз уже гораздо более явственный, долетел до нашего слуха. Через несколько секунд впереди носа «купца», на довольно значительном от него расстоянии, высоко взлетел вверх фонтан воды и вслед за тем грохнул характерно-резкий разрыв тяжелого снаряда. «Купец», как испуганная птица, метнулся в сторону и сразу же начал заметно сбавлять ход.

— Вы видите? — спросил я Стивенса.

Вместо ответа он снял трубку телефонного аппарата, непосредственно соединявшего пост номер три с базой.

Когда я начал спускаться к лифту, мой чуткий слух уловил очень тихо произнесенную фразу Колльриджа:

— На его месте я бы дал крейсеру возможность потопить это сборище негодяев, а потом потопил бы и сам крейсер.

Бедный Колльридж — каким он стал жестоким. А ведь когда-то это был добрейшей души человек. Впрочем, я не осуждаю его: если бы меня, как его, держали в зловонной тюрьме, если бы в моем присутствии истязали и убивали мою семью, угрожая той же участью и мне; если бы я, чудом избежав смерти, увидел себя превращенным из богача в нищего — я, вероятно, сказал бы то же самое.

ГЛАВА V

Когда мы спустились к моему коттеджу, у его подъезда уже ждал нас, пофыркивая мотором, вызванный по телефону автомобиль. Он должен был довезти меня и Стивенса до морской базы. Колльридж на всякий случай оставался на острове.

Мне надо было захватить некоторые необходимые для экспедиции вещи и я, попросив Стивенса подождать меня в относительно прохладном hall'e, начал быстро спускаться в свой «подвал».

Но не успел я еще открыть ведущую во внутренние комнаты дверь, как до моего слуха донеслись заглушенные звуки ожесточенной канонады. Иногда выстрелы звучали слабо и неясно, иногда же громыхали гулко и тяжело.

Я не прошел, а пробежал две комнаты, отделявшие меня от кабинета, и приложил к уху телефонную трубку.

— Пост номер три? — спросил я.

— Да, сэр, — слышался ответ.

— Что такое происходит в море?

— «Купец» не сдается, сэр. Он подпустил к себе крейсер на близкое расстояние и открыл по нему огонь.

— А крейсер?

— Отвечает редким огнем из тяжелых калибров. «Купцу» несдобровать, сэр: он заметно накренился на левый борт.

Надо было спешить. Я схватил нужные мне вещи и, шагая через четыре ступеньки, помчался наверх.

— В базу! — крикнул я шоферу. — И полным ходом.

«Плезиозавр»* — единственный в мире подводный и одновременно воздушный корабль**. Честь создания его принадлежит одному молодому, но гениальному русскому инженеру, эмигрировавшему в Америку в дни революции. Великим изобретением сразу же заинтересовались несколько государств в Старом и в Новом Свете. Однако, при ближайшем ознакомлении со сметах расходов, необходимых для производства опытов и постройки модели, у всех правительств неизменно пропадало желание купить у изобретателя патент.

Тогда этот патент был куплен мною. Инженер стал богатым человеком, а я — счастливым обладателем самого

* П р и м е ч а н и е: Плезиозавр — одно из гигантских водных ископаемых доисторического периода.

** См. примеч. в конце книги.

замечательного корабля. *Suum cuique****.

Первоначально корабль был построен не как военное судно, а как яхта — яхта президента Синдиката соединенных трестов. Я не пожалел расходов на обстановку и отделку судна. Смею вас уверить, милостивые государи, что яхте Джона Гарвея позавидовал бы любой монарх. Впоследствии, когда мне навсегда пришлось покинуть континент, я приспособил корабль для военных целей.

.
.

Как и всегда во время морских поездок на «Плезиозавре», я лично вел корабль. Для меня нет большего наслаждения, как управлять его чуткими механизмами, воспринимающими мою волю с понятливостью почти живого существа.

С величайшей осмотрительностью, идя самым тихим ходом, я провел «Плезиозавр» сквозь запутанные коридоры минных заграждений и с облегчением вздохнул, когда мы очутились в безграничном просторе открытого океана.

— Полный ход! — передал я по телеграфу в машинное отделение.

— Есть полный ход, — последовал ответ.

По слабому вначале и постепенно все нараставшему содроганию корпуса я понял, что моторы пущены с максимальной энергией.

Чтобы зайти со стороны открытого океана, нам нужно было описать большой круг. Не отымая руки от рулевого рычага, я откинулся на спинку высокого вращающегося кресла и перевел взгляд на растянутый передо мной экран подводного перископа. На нем, кроме быстро отходящих вдаль очертаний острова, ничего еще не было видно.

— Нам понадобится не меньше двадцати минут на то, чтобы дойти до места, где мы, не возбуждая подозрений,

*** Латин. Каждому — свое.

сможем вынырнуть на поверхность моря, — услышал я сзади себя голос Стивенса.

— Да, я думаю, — односложно ответил я.

Оба мы говорили спокойно, но я знал, что Стивенс волнуется не меньше меня.

На восемнадцатой минуте остров виднелся на экране уже в виде небольшого бесцветного пятна. На двадцать первой пятно из серого превратилось в туманное и в то же время в левом верхнем углу экрана появились две неясные черточки. Этими черточками были оба являвшиеся целью нашей экспедиции корабля.

— Благодарение Небу, — сказал с радостью в голосе Стивенс, — «купец» еще держится на воде.

— Вопрос, сколько он продержится...

Я надавил рычаг электрического рулевого аппарата и плавно стал поворачивать его влево. «Плеззиозавр» дрогнул и начал сильно крениться на правый борт, описывая крутую дугу. В то же время черточки, обозначавшие на экране оба судна, начали передвигаться вправо. Когда они оказались в центре верхней половины экрана, я снова возвратил рычаг в среднее положение. «Плеззиозавр» выпрямился. Теперь он шел прямо к цели. Еще через несколько минут мы подыдемся на поверхность моря.

С каждой секундой черточки становились больше и рельефнее и постепенно принимали очертания судов. Прошло еще пять минут. Увы, — мы опоздали.

Перед моими глазами на экране ясно рисовались теперь стройные очертания неподвижно стоявшего крейсера. Легкий дымок подымался из всех четырех его труб и тотчас же разбивался в неподвижном воздухе. В стороне и немного впереди крейсера виднелся громоздкий, неуклюжий корпус пассажирского судна. Нос его, беспомощно поднывавший над застывшей поверхностью океана, висел в воздухе, а корма все глубже и глубже уходила в воду.

— «Купец» идет ко дну, — как загипнотизированный, вперив глаза в экран, сказал Стивенс. — Он продержится на воде всего несколько минут.

Вместо ответа я нажал рычаг горизонтального руля. «Плезиозавр» метнулся носом вверх и переменял горизонтальное положение на наклонное. Через несколько секунд он неся уже, как гигантский нарвал, по поверхности океана.

— Капитан Джонсон, — сказал я неподвижно сидевшему все время возле меня командиру судна, — возьмите на себя управление кораблем.

— Есть, сэр, — ответил моряк, опускаясь на освобожденное мною кресло.

Я приказал выдвинуть носовую наблюдательную башню и прошел в нее вместе со Стивенсом. Несмотря на бешеную скорость, с которой «Плезиозавр» пожирал расстояние, мы все-таки находились на довольно еще значительной дистанции от места катастрофы. Мы откинули составленный из кусков толстого, кристаллически-прозрачного стекла купол башни и, высунувшись до половины над палубой, уставились в сильные морские бинокли.

Милостивые государи! Джон Гарвей, мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка видывал на своем веку достаточно видов. Некоторые из них были таковы, что при их созерцании человек с менее крепкими нервами, чем бывший клерк торгового дома «Бурбенк и Сын», по всей вероятности, лишился бы рассудка. Да, смею вас уверить, что это так. Джон Гарвей никогда не лжет.

Не помню, кто обмолвился однажды замечательным афоризмом: «Только четыре вещи в мире беспредельны: время, пространство, человеческое благородство и человеческая подлость».

Хотя лично я был убежден в этом всегда, но все же, когда я поднес к глазам бинокль, я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок.

Поврежденный корабль быстро погружался в воду. Вся верхняя палуба его, напоминая своим видом потревоженный муравейник, была усеяна тысячами копошащихся и движущихся человеческих фигур. Люди цеплялись за поручни бортов, за мачты, снасти, друг за друга — за все, что попадалось под руку. Некоторые срывались и падали в во-

ду, некоторые в припадке безнадежности бросались туда сами, желая хотя на несколько мгновений отсрочить неизбежную гибель. По мере приближения «Плезিозавра» детали ужасной трагедии вырисовывались все яснее и впечатление от них становилось поистине кошмарным. Крейсер, по-видимому, не проявлял в отношении погибающих ни малейшего участия. Его борта, выступы командирской рубки и даже мачты были усеяны стоявшими в спокойных позах людьми, которые с тупым равнодушием наблюдали страшное зрелище.

— Скоты... — проворчал сквозь зубы Стивенс.

Он не успел окончить фразы, как на крейсере произошло какое то движение. Люди, стоявшие на носовой части палубы вдоль того борта, который был обращен непосредственно к погибающему судну, вдруг быстро начали принимать вправо и влево. Открылось свободное пространство в несколько ярдов ширины. Видно было, как по нему быстро бежали к борту пять-шесть человек, неся что-то попарно на руках. Поставив это «что то» на самом краю палубы и низко нагнувшись над ним, люди начали копошиться.

— Что они там делают, Стивенс? — спросил я, указывая биноклем в направлении заинтересовавшего меня явления.

Он мельком взглянул на палубу крейсера, недоумевающе пожал плечами и сейчас же снова перевел свой взгляд на тонущее судно. Лицо его было бледно, губы крепко сжаты.

Перестав интересоваться крейсером, я тоже навел на обреченное судно свой бинокль. Но тотчас же снова опустил его: зрелище беспомощной гибели нескольких тысяч человеческих существ начинало ужасающе действовать мне на нервы.

Я измерил взглядом отделявшее нас от крейсера расстояние и мысленно сказал себе: пора.

— Прикажите людям занять места у минных аппаратов, — сказал я.

Стивенс поспешно начал спускаться вниз. Наклонившись в отверстие люка, я крикнул ему вслед:

— Когда все будет готово — сообщите!

— Есть, — донесся уже издали голос Стивенса. Я выпрямился и, когда снова поднес бинокль к глазам, — в его поле зрения отразился один только крейсер. На том месте, где еще две минуты назад виднелся погибающий корабль, сейчас бурлила и клокотала огромная воронка.

.
.

Когда до моего слуха донеслось зловещее, методически-равномерное постукивание, — я понял, что предметы, над которыми копошились недавно люди из команды крейсера, были не чем иным, как митральезами. Понял я также и то, что они работали сейчас над уничтожением тех немногих из пассажиров погибшего судна, которым посчастливилось тем или иным способом удержаться на поверхности моря. Пираты жестоко мстили за неудавшуюся попытку грабежа. Команда так увлеклась охотой, что «Плезиозавр» был замечен уже на очень небольшом, сравнительно, расстоянии от крейсера.

На палубе корабля воцарилось полное смятение. С боевого марша нам стали сигнализировать флагами.

— Кто идет? — прочел Стивенс сигналы.

Когда ответа не последовало, суета приняла еще большие размеры. Видно было, как часть людей бросилась к боевым вращающимся башням со скорострельными орудиями.

В то же время с бортов стали опускать в море заградительные противоминные сети. Из всех четырех труб крейсера повалил густой дым и он начал скользить по зеркальной поверхности дремлющего океана, постепенно все ускоряя ход.

Вскоре с глухим скрежетом, тяжело завывая, пронесся первый снаряд и, взбив высокий фонтан воды, исчез в море далеко позади «Плезиозавра».

— Отвратительная наводка, — спокойно пыхнув сигарой, сказал Стивенс.

Второй снаряд упал ярдах в пятидесяти впереди носа нашего судна.

— Они не желают принимать боя, дружище, — сказал я. — Видите, они идут полным ходом и поворачивают в открытое море.

— Это англичанин, — снова сказал Стивенс. — Америка не строила такого типа судов.

— Вернее, просто одно из бывших военных судов, занимающихся теперь самым выгодным в мире промыслом — пиратством.

«Плезеиозавр» шел, окруженный со всех сторон фонтанами взметавшейся от падающих снарядов воды... Он быстро догонял крейсер, уходивший в С. З. направлении.

— Пора, — сказал я.

Мы спустились вниз. Я приказал снова втянуть наблюдательную башню и наглухо задраить выходной люк. «Плезеиозавр» снова опустился под поверхность моря и взял курс, параллельный курсу крейсера.

После предварительного обстрела крейсера особыми минами, назначением которых было разрушить защищавшую судно противоминную сеть, дело быстро пришлось к неизбежной развязке. Перейдя на поражение, мы уже третьей миной взорвали, по-видимому, кюйт-камеру неприятельского судна. Оглушительный взрыв, слабые отзвуки которого проникли даже в рубку «Плезеиозавра», и огромный столб черного дыма, изображение которого появилось на световом экране, показали, что атака наша увенчалась полным успехом.

Милостивые государи, — Джон Гарвей по своей натуре вовсе не жесток. Да, не жесток. Он держится взгляда, что, когда давят каблуком голову ядовитой змеи, то при этом совершенно излишне наблюдать за выражением ее глаз.

Это недостойно истинного джентльмена.

— Да, я раздавил ядовитую змею. Да, я чувствую радость и облегчение при мысли о том, что я избавил мир от лишней тысячи, а может быть, и больше кровожадных негодяев. Но наблюдать, как они корчатся под водой, и с сигарой в зубах рассуждать при этом о посрамлении зла и о

торжестве справедливости...

— Брр... Нет, на это я не способен. Во мне еще не умерло окончательно сентиментальное благородство клерка почтенного мистера Бурбенка.

Мне очень хотелось курить. Но, уверяю вас, я чиркнул спичкой не раньше, чем с голубовато-зеленой половины экрана, изображавшей собою поверхность океана, исчезла последняя черная точка. Я всегда относился с величайшим уважением к самому значительному моменту нашей земной жизни — переходу в потусторонний мир.

«Плезиозавр» снова вынырнул на поверхность моря и средним ходом пошел в направлении острова. Нервное возбуждение сменилось реакцией. Сидя на краю люка и свесив вниз ноги, Стивенс и я наслаждались солнечным светом, теплом и дуновением пропитанного морскими испарениями ветерка. Легкое монотонно-однообразное шипенье разрезаемой «Плезиозавром» воды нагоняло на нас обоих какое-то удивительно приятное состояние полудремы, полубодрствования. Мы приближались к месту гибели пассажирского судна.

Я невольно повернул в этом направлении голову. Последовал моему примеру и Стивенс.

— Что это? — воскликнул он вдруг, оживившись.

— Где? — лениво спросил я.

— Да вон ... Вон там.

И он указал рукой на поверхность дремлющего моря.

— Ничего не вижу, — ответил я, щуря свои близорукие глаза.

— Ну, как же вы не видите, — возмутился Стивенс, который, как и все обладающие прекрасным зрением люди, никогда не мог постигнуть психологии людей близоруких. — Две точки... Они плывут очень медленно, но явно двигаются в направлении острова.

— Какие точки?

— Боги! Да возьмите же бинокль. Или лучше дайте его мне — вы все равно ничего не увидите.

Гм... Этот Стивенс положительно иногда забывает, что тоном, подобным тому, каким он говорил сейчас, совер-

шенно не приличествует говорить с главою государства.

Тем не менее, я дал ему бинокль.

— Я так и думал, — услышал я через минуту.

— Что вы думали?

— Эти точки — головы двух людей. И пусть меня повесят, если они не плывут к острову, эти люди.

— Вы уверены в этом? — спросил я, чувствуя, как в душу мою заползает чувство непонятной тревоги.

— Уверен ли я? Так же уверен, как в том, что сижу рядом с вами на борту «Плезиозавра».

Голос Стивенса звучал раздраженно. По-видимому, новое явление нравилось ему не больше, чем мне.

Я взял бинокль из рук Стивенса и убедился в том, что его предположения совершенно правильны. Черт возьми, этого еще не доставало... Сделать удивительный отбор людей, политические и прочие взгляды которых в точности совпадают с моими; основать единственную в мире общину, составляющую нечто исключительное по единомыслию, принципам и твердости убеждений; в течение нескольких лет неусыпно охранять эту общину от проникновения в нее постороннего элемента, который своим дурным влиянием смог бы поколебать цельность организации; считать свою позицию в этом отношении безукоризненно упрочившейся, абсолютно неприступной — и вдруг... Вдруг совершенно неожиданно получить в качестве сочленов двух новых, совершенно неизвестных людей. Кто они? Каковы их убеждения? Кто может поручиться, что они не одни из тех кровожадных чудовищ, которые рекою льют на обоих континентах человеческую кровь, насируют, грабят, убивают? Кто может поручиться, что они не внесут разложение в нашу среду, не заставят поколебаться слабые умы? Ведь среди 2000 моих подданных есть немало и простых людей. Они верят в то, во что верю я, потому что они покинули континент под первым впечатлением творящихся там ужасов. Потому, что головы их не успели еще одурманиться чадом легкой наживы и лозунгом «грабь награбленное».

А что если дурман, от которого мы бежали, проникнет в головы этих людей здесь? Во всяком человеке сидит

алчный и хищный зверь. Разница только в том, какой толщины та культурная оболочка, которая его покрывает. Тонкая оболочка снимается быстрее и легче; толстая — медленнее и труднее. Но начинки под той и другой совершенно одинаковы.

Разве в свое время в высококультурной Германии солдаты и чернь не сбрасывали с мостов и не умерщвляли представителей ненавистного класса так же, как это делали в отсталой России? Разве эксцессы, имевшие место во время гражданской войны в Ирландии, не вызвали бы восторженной зависти у зулусов и дагомейцев?

Мысли вихрем кружились у меня в голове.

Что делать?

— Что же делать, Стивенс? — спросил я моего друга.

Он посмотрел на меня взглядом, который ясно показал мне, что в эти краткие мгновения его переживания были те же, что и мои.

— Если бы вы последовали моему совету, — начал он каким то чужим, беззвучным голосом.

— То?..

— Я бы подошел поближе к этим людям...

— И?..

— Мой друг, — сказал он, прямо смотря мне в глаза, — у меня в каюте есть прекрасный карабин Винчестера и в нем пять патронов...

— Вы с ума сошли, Стивенс!

— Думаю, что нет еще. Но если вы подберете этих людей или дадите им доплыть до острова — я буду иметь полное основание усомниться в здравости вашего рассудка.

— А если они порядочные люди?

— Если только хотя один шанс говорит в пользу обратного предположения, то их все же надо пристрелить.

— Безоружных и едва живых?

— Да. Мы рискуем слишком многим, чтобы принимать в расчет такие мелочи.

— Дайте мне подумать, Стивенс.

Минута мучительных размышлений показалась мне вечностью. Но я решился. Нет, я не убийца. Я спасу этих лю-

дей и привезу их на остров. Расстрелять человека никогда не поздно. Я встал.

— Вы решились? — спросил меня Стивенс.

— Да, — твердо ответил я, — я беру этих людей на борт «Плезиозавра».

— И везете их на остров?

— Да, мой друг, везу их на остров.

Бедный Стивенс! Он ничего не сказал. Даже не пожал плечами. Он молча поднялся с места и исчез в люке.

Через пять минут «Плезиозавр» поравнялся с плывшими людьми. Еще через три минуты их подняли на борт судна. Один из спасенных был высокий, сильный и стройный молодой человек лет двадцати восьми. Резкие черты лица, черные, как смоль волосы и большие огненные глаза выдавали его южное происхождение. Когда он, совершенно обессиленный, со словами благодарности упал на палубу «Плезиозавра» — я понял, что не ошибся: человек говорил по-испански.

Рядом с ним лежала на палубе смертельно бледная, в совершенно бесчувственном состоянии молодая женщина, даже вернее девушка. Ее глаза были закрыты, грудь подымалась слабо и едва заметно. Но все же с первого взгляда я успел заметить, что лицо ее было поразительной красоты, а полуобнаженная фигура могла бы послужить совершеннейшим образцом для любого из великих скульпторов.

Ее бюст целиком скрывался под толстым пробковым поясом. Такой же пояс был и на ее спутнике. Только благодаря этому он мог плыть с бесчувственной девушкой к далекому берегу.

Пока судовой врач приводил в чувство столь неожиданно посланную мне судьбою гостью, я продолжал всматриваться в ее лицо. Меня поразило его тип: он не подходил ни к типу англосаксов, ни тем более к типу расы, к которой принадлежал, по-видимому, спасенный мною мужчина. Я перебирал в уме виденные мною типы женщин всех национальностей, но ни один из них не подходил к типу лежавшей у ног моих девушки. Мягкий овал лица, прямой

нос и густые темно-золотистые волосы скорее всего напоминали мне немку.

Впрочем, не все ли равно, какой национальности девушка? Какое мне до этого дело?

ГЛАВА VI

Уже несколько дней, как спасенная мною девушка и ее спутник живут на моем острове. Мои первоначальные предположения о национальности неожиданно ниспосланных мне Роком гостей, оказались совершенно ошибочными. Мужчина вовсе не испанец, в женщине — нет ни капли немецкой крови. И тот и другой — русские. Они — брат и сестра и носят фамилию — Ратмировы. Ее зовут Мария, а его... Нет, я положительно не в силах усвоить произношение имени моего гостя. Словом, это имя, насколько я понял, соответствует нашему английскому имени «Джордж». Да, именно так.

История пришельцев очень печальная, но очень обыкновенная в наши дни.

Русская революция в марте 1917-го года; эмиграция всей семьи в Рио-де-Жанейро; основание стариком Ратмировым на уцелевшие, все еще очень крупные средства акционерного пароходного общества; удачное ведение дел в течение ряда лет; новое обогащение и новое, уже окончательное разорение, явившееся следствием страшных событий, разразившихся на континенте Нового Света три года назад.

Затем смерть старика и его жены, не вынесших нового удара судьбы, голода и тяжелых лишений. Далее — полуголодное прозябание Марии и ее брата; ужасы террора и эпидемий, блуждания из конца в конец огромного вымирающего материка и, наконец, бегство в поисках более сносного существования в Австралию.

Дальше тоже все очень просто и по нынешним временам вполне нормально: уклонение парохода, с целью обеспечить себе безопасное плавание, далеко к югу от общепринятой линии рейсов; встреча, несмотря на это, с пиратским судном; длительное преследование и, наконец, катастрофа вблизи острова Старого Мира.

Вот все, что я узнал о моих гостях из их рассказа о себе. Повторяю — история обыкновенная.

Что же еще? Да, — оба пришельца, а особенно девушка, производят на меня и на всех нас прекрасное впечатление. Даже Стивенс в конце концов положил гнев на милость и не дуется больше на меня за то, что я спас этих двух несчастных русских.

В общем, мы все довольно быстро сошлись с нашими гостями. Заметив, как трудно мне произносить их русские имена, оба просили меня называть их так, как мне кажется наиболее удобным. Я воспользовался этим милым разрешением. Девушку я зову мисс Мэри, а ее брата — мистер Джордж.

Эти имена по созвучию своему очень близки к тем, которыми пользуются при обращении друг к другу мои гости: мистер Джордж зовет сестру «Мара», она его — «Жорж».

Я забыл упомянуть, что оба мои гостя великолепно говорят по-испански и очень прилично по-английски.

Я долго думал, где их поселить, и в конце концов пришел к убеждению, что самым подходящим для этого местом будет мой коттедж. Уверяю вас, что, принимая такое решение, я не руководствовался никакими тайными соображениями. Я сделал это просто потому, что мой дом или «дворец», как зовут его мои подданные, самый большой и поместительный на всем острове. Кроме известного уже вам «подвала», коттедж имеет еще два верхних этажа. Оба этажа отлично меблированы, полны комфорта и даже роскоши.

В самом деле — куда еще я мог поместить пришельцев? В городке нет ни одного свободного домика — количество их строго соответствует числу жителей острова. Не подлежит никакому сомнению, что два человека могли стеснить

меня, живущего в одиночестве в большом доме, гораздо меньше, чем нескольких человек, обитающих в одном из маленьких коттеджей городка.

Я отвел моим милым гостям весь партер. В нем не так прохладно, как в моем «подвале», но зато и не так жарко, как в верхнем этаже. Мои жильцы меня нисколько не стесняют. Первое время, правда, мне как-то странно было думать, что в доме, кроме меня, Джефферсона и Гопкинса, живет еще кто то. Но скоро я освоился с этой переменной.

Не могу того же сказать про Джефферсона. Этот почтенный человек, по-видимому, очень недоволен вторжением постороннего элемента в мой дом. Правда, как благовоспитанный слуга, могущий послужить образцом даже для славившихся в прежнее время во всем мире английских слуг, он ничего не позволил себе сказать. Он по-прежнему почтительно-корректен, сдержан и исполнителен.

Бедный Джефферсон! Его удел — никогда и ничему не удивляться. И надо отдать справедливость — все долгие годы службы у меня он с покорностью нес этот крест. Он не удивился даже тогда, когда примчавшийся из базы автомобиль вместе с его хозяином доставил к подъезду коттеджа совершенно неизвестную полуголую даму и такого же неизвестного господина в мокром насквозь платье.

Мне стоило огромного усилия, чтобы не улыбнуться при виде того каменного безразличья, с которым Джефферсон выслушал мое распоряжение.

— Эта молодая леди и этот джентльмен будут жить в моем доме. Они займут партер. Я проведу гостей в их комнаты, а вы принесете мое белье и один из костюмов. Джентльмену необходимо переодеться.

— Слушаю, сэр. Прикажете Гопкинсу приготовить для леди и джентльмена горячий завтрак и пунш?

— Да. И как можно скорее.

Милостивые государи! Что вы там не говорите, а приятно иметь понятливого и корректного слугу.

И все же, хотя у меня нет никаких конкретных данных, я чувствую, что Джефферсон недоволен. Я достаточно хорошо знаю его для того, чтобы думать так. Сначала у меня

мелькнула мысль, что это недовольство порождено излишней работой, вызванной поселением в доме двух новых обитателей. Но я сейчас же убедился, что догадка моя несправедлива: Джефферсон никогда не был лентяем.

Что же ему пришлось не по вкусу?

Впрочем, не все ли мне равно, что думает Джефферсон? И даже все обитатели острова? Подданные всегда думают о своих монархах только дурное. Это аксиома.

Итак, мисс Мэри и ее брат поселились в моем доме. Девушка уже на другой день совершенно оправилась от пережитого ею ужасного потрясения. Заботы добрейшей миссис Стивенс, в изобилии снабдившей красивую эмигрантку платьями и необходимыми вещами из своего богатейшего гардероба, окончательно вернули моей гостье ее, по-видимому, всегда жизнерадостное настроение.

Миссис Стивенс, молодая еще и очень привлекательная дама, была вне себя от восторга. В числе немногих находившихся на острове женщин, она была единственной, принадлежавшей к нашему кругу. Остальные были женами простых людей и, конечно, между ними и миссис Стивенс лежала целая пропасть.

— Я так рада, так рада, — говорила мне эта милая женщина. — По крайней мере, есть с кем поговорить и отвести душу. А вы рады, мистер Гарвей?

Помню, тогда я ответил нечто настолько неопределенное, что, кажется, даже огорчил мою добрейшую собеседницу. Тогда, в первые дни пребывания на острове моих гостей, я по совести не мог сказать, доволен ли я их появлением на моем жизненном пути. Даже нет — могу сказать определенно: скорее я был недоволен.

Я закоренелый холостяк и, как у всякого холостяка, у меня бесчисленное количество разнообразнейших и странных привычек!.. Вторжение в мой дом женщины, да еще такой молодой и красивой, естественно, не могло не нарушить этих привычек. Роль любезного хозяина далеко не всегда бывает приятным занятием. Раньше я делал, что хотел и проводил время, как мне было угодно. Теперь же мне приходилось очень часто делать то, что как раз не совпада-

ло в данный момент с моими желаниями.

Я хотел сидеть в моем «подвале» в удобном кресле и читать книгу — меня звали гулять; я хотел, взобравшись на вершину горного кряжа, лежать в густой тени гигантского эвкалипта, лениво смотреть на бирюзовое море или сквозь дрему слушать тысячеголосое щебетание птичек, — а меня влекли кататься на моторной лодке; мне хотелось, сидя с друзьями в моей прохладной и уютной столовой, пить виски или тянуть через соломинку крепкий ледяной шерри, а меня заставляли играть в бридж или покер.

Словом, я, к желаниям и даже капризам которого менялось течение всей жизни на острове, вдруг к крайнему своему изумлению убедился, что я больше не хозяин своего времени и своих поступков.

И что самое удивительное — это то, что я, во все дни своего земного странствования ставивший превыше всех благ право независимости действий, желаний и намерений, я, который привык повелевать целым континентом — не чувствовал пока никаких неприятных последствий от подчинения своей воли воле другого существа.

Милостивые государи! Я вижу, как ваши губы складываются в насмешливую улыбку. Я слышу, как вы с веселым пренебрежением говорите: любезный сэръ — можете не продолжать. Мы уже знаем, в чем дело. Да, знаем и мы ждали такого конца. Вы просто влюбились в красивую мисс Мэри. Не так ли?

Увы, — я должен вас огорчить, милостивые государи. Мне очень неприятно делать это, но поступить иначе я не могу. Я должен разочаровать вас: бывший президент Синдиката трестов и не думал влюбляться. Да, и не думал. И по очень простой причине: любовь так же мало знакома его сердцу, как голому полинезийцу астрономические выкладки и вычисления. И еще потому, что Джон Гарвей давно уже вычеркнул из своей жизни женщин, хотя бы они были в миллион раз прекраснее и обольстительнее, чем мисс Мэри. Почему — хотите вы знать? Очень просто: потому что, если человек начинен золотом, как мешок крупной, то водопад женской любви обрушивается не на него, а на его на-

чинку. А это, смею вас уверить, совершенно неинтересно.

Нет, нет — не говорите мне об исключениях. В моей жизни было тридцать восемь разочарований и ни одного исключения. В этом отношении позвольте мне больше верить самому себе, чем всем психологам любви.

Между прочим, я пришел к убеждению, что в партере вовсе не так жарко, как я воображал. В особенности, если сидеть в дальнем углу красной мавританской гостиной. Мисс Мэри вполне согласна со мной в этом вопросе. Вообще, с некоторого времени партер начинает мне нравиться несравненно больше, чем мой «подвал». В конце концов, там довольно мрачно.

Замечательно еще то, что в присутствии брата моей милой гостьи, мистрис Стивенс или кого-либо из моих друзей, гостиная становится гораздо менее уютной. Не понимаю, чем это можно объяснить...

Джордж — прямая противоположность сестре. Он несколько не склонен к лени и кейфу. В самую отчаянную жару он идет бродить по острову, интересуется каждой постройкой, каждым сооружением. Очень любит заводить разговоры с обитателями моих владений. Особенно интересуется он радио-станцией. По его словам, он никогда не имел возможности наблюдать ее работу вблизи. Нужно будет как-нибудь свести его туда — доступ на станцию дозволяется лишь очень немногих официальным лицам и без меня Джорджа не пустят. В общем, он мне нравится, т. е. почти нравится. Его сильная, стройная, тренированная фигура и энергичное лицо безусловно вызывают симпатию. Но он очень мрачен. Отчего он так мрачен? И почему в его красивых глазах вспыхивают по временам странные огоньки?

Впрочем — он с континента. И, верно, немало перестрадал и пережил.

Конечно — это так. А в общем — он милый.

ГЛАВА VII

Я давно уже не заглядывал в тетрадь и не прибавлял к своим отрывочным записям ни одной строчки. Сегодня мне хочется, наконец, подвести итог событиям последнего месяца. Мне необходимо хотя бы на несколько часов стать прежним Джоном Гарвеем. Мистером Джоном Гарвеем из Нью-Йорка. Я должен дать сам перед собой отчет во всех моих мыслях и поступках за эти тридцать дней.

Да, да, — пожалуйста-ка сюда, милейший друг. Пожалуйста к ответу. И заранее имейте в виду — вам не помогут никакие увертки. Вас требует к допросу не кто иной, как джентльмен, который в течение пяти лет повелевал всем континентом Нового Света и привык читать в сердцах людей самые тайные и хитрые мыслишки так же легко, как написанный на отличной машинке доклад секретаря Синдиката трестов.

Итак, — начинайте, высокочтимый сэр. Говорите без всякого стеснения и совершенно откровенно. Во-первых — сейчас далеко за полночь и все давно спят. Во-вторых, если бы в доме еще и не спали, то все равно нас здесь никто не подслушает: когда ушел Джефферсон, я собственноручно запер за ним выходную дверь. Что касается этой бутылки виски и ящика с сигарами, то они свидетели не из болтливых. За их скромность я вполне ручаюсь.

Гм... Я вижу — вы смущены. Вы не знаете, с чего начать? Хорошо, я вам помогу. Что вы скажете, например, о ваших отношениях к мисс Мэри?

Что? Говорите громче, мистер Гарвей. Громче и яснее. Вы лепечете что-то о дружбе? Милый мистер Джон — ваша попытка обмануть меня очень неудачна. Ваши хитрости шиты белыми нитками. В лучшем случае, они могли бы одурачить только какого-нибудь жалкого простака. И то при условии, что его не успели еще просветить проповедники «земного рая».

Ах, сотрите, ради Бога, с вашего лица выражение оскорбленного недоумения. Во-первых — оно очень не идет к вам, а во-вторых, вы не хуже меня знаете, что приведенный вами аргумент зиждется далеко не на прочном фундаменте. Вернее, этого фундамента вовсе нет. Вам угодно знать, почему? Потому, что дружба между мужчиной и женщиной — химера. Слышите ли — химера.

Вы не возражаете? Впрочем — это довольно трудно сделать.

Дорогой сэръ! Считаю, что по первому пункту вы разбиты наголову. С вашего разрешения, мы перейдем сейчас к остальным. Если вы позволите, я, для сокращения нашего диспута, просто буду предлагать вам вопросы. Вопросы краткие и ясные, на которые вы должны так же кратко и ясно отвечать. Вы согласны? Отлично.

Итак, если мисс Мэри вам не друг, то кто же она?

Вам небезызвестно, конечно, что не очень старого еще и физически здорового мужчину могут влечь к молодой женщине чувства, число которых весьма ограничено. Я лично всегда подразделял их на две категории: чувства, если можно так выразиться, бесполое и чувства, основанные исключительно на половом влечении. К первой категории принадлежат: чувство родственное, чувство дружбы и чувство симпатии. Ко второй — чувство грубой похоти и, наконец, чувство любви.

Разберем последовательно обе категории. Насколько мне известно, вы ни с какой стороны не приходите мисс Мэри родственником. Равно вы не отрицаете и того, что дружба между мужчиной и женщиной — химера. Таким образом, из первой категории остается только одно чувство симпатии.

Нет, милый мистер Джон — вам не поймать меня и на эту удочку. Чувство бескорыстной платонической симпатии со стороны мужчины к молодой и красивой женщине? Ха-ха! Нет, старина — это тоже химера. И вы никогда не заставите меня поверить в нее. — Никогда.

Итак — по третьему пункту первой категории вы также потерпели полное поражение.

Дальше, вы никогда не были самцом и только самцом. Вы обманывались, разочаровывались, вы презирали самого себя за доверчивость, но тем не менее вы никогда не искали сближения с женщиной только для того, чтобы обладать ее телом и грубо наслаждаться им. Вы всегда искали иллюзии и если, как вы уверяете, ваше сердце никогда не было способно к любви, то все же вы не станете отрицать, что в женщинах вы старались найти прежде всего это чувство. Вы не любили сами, но требовали, чтобы любили вас. И не ваша вина, если из тридцати восьми женщин, пересекших ваш жизненный путь, ни одна не оказалась достойной оказанного ей вами доверия. Да, вы решительно не при чем, если вместо вас любили ваши семь миллиардов. Вы просто были обмануты, мой друг. То есть, вернее, наказаны Провидением за то, что требовали от других того, чего не могли им дать сами.

К вашей чести, мистер Джон, я должен признать, что грубая похоть никогда не властвовала над вами. Если так было в течение сорока восьми лет, то ясно, что и теперь не может быть иначе. Следовательно, вы разбиты еще по одному пункту.

Остается последний из них — самый невероятный, а именно, что вас влечет к мисс Мэри чувство любви. Что? Вы говорите об абсурдности такого предположения? Хорошо, хорошо, милейший — «Rira bien celui qui rira le dernier»^{*}.

Дедуктивный метод логического мышления устанавливает как незыблемое основание, что для решения данной задачи должны быть построены на одном и том же базисе несколько различных гипотез. Каждая из них, начиная с самой вероятной, должна быть всесторонне исследована. Второй незыблемый закон того же метода гласит: если путем логики все самые вероятные гипотезы будут опровергнуты, то истина скрывается в той из них, которая кажется самой невероятной и неприемлемой.

^{*} Хорошо смеется тот, кто смеется последним (*фр.*). (*Прим. изд.*).

Мы перебрали с вами все самые вероятные гипотезы о причинах вашего влечения к вашей гостье. И, за исключением последней, все они опрокинуты доводами логики. Следовательно, сколь это не кажется невероятным, остается признать, что разгадка вашего отношения к мисс Мэри таится в вашей любви к ней.

Законы логики неумолимы и спорить против них бесполезно. Нет, нет — довольно. Словопрения ни к чему не поведут.

Вы влюблены, Джон Гарвей. Теперь мне понятно все: и полная перемена ваших привычек, и ваше вечное сидение в комнатах ваших невольных гостей, и ваше подчинение желаниям и даже капризам мисс Мэри, и то чувство скуки и неудовлетворенности, которое вы ощущаете вдали от вашей милой гостьи. Мне понятна и ваша беспричинная радость, когда вы ловите на своем лице ее долгий взгляд, и трепет, который пробегает по вашему телу, когда девушка кладет на вашу руку свою маленькую бархатистую ладонь.

Вы старый осел, уважаемый сэр, старый осел. Влюбиться в двадцатитрехлетнюю красавицу, стоя на грани шестого десятка! Имея при том всю жизнь позади и впереди никаких решительно перспектив... И какие у вас данные на взаимность? Неужели только то, что молодая девушка охотно проводит время в вашем обществе, гладит вас иногда по руке и смотрит в ваши глаза долгим взглядом? Или, может быть, ее фраза, от которой вы четыре дня назад пришли в телячий восторг и весь день ходили с идиотским выражением высшего благополучия на лице?

Я до сих пор краснею за вас при воспоминании о том, как вы после разговора, приведшего вас в такое состояние, спустились в свой подвал и пять минут носились по комнате, выделявая такие пируэты и антраша, которым позавидовал бы любой каннибал. Мало того, услышав чьи-то шаги и едва успев сесть в ближайшее кресло, вы при виде вошедшего Джефферсона ни с того ни с сего приказали ему принести себе бутылку вина. Затем совершенно без всякой причины подарили почтенному слуге и его приятелю Гопкину по сто долларов. Джефферсон, верный себе, не уди-

вился даже и на сей раз. Думаю, однако, что столь странные поступки господина послужили, десять минут спустя, благодарной темой для обмена мнений между обоими сторонами.

Что вы скажете на все это, досточтимый мистер Гарвей?

Не находите ли вы, что столь легкомысленные выходы не вполне приличествуют бывшему президенту Синдиката трестов и нынешнему правителю самостоятельного государства?

И, в конце концов, что сказала молодая девушка? Давайте припомним!

В тот день служебные доклады задержали меня дольше чем всегда, и я вошел в hall партера на час позже обыкновенного. Кажется, я не ошибаюсь? Да, да — именно на час позже. Беззвучно ступая по коврам, я прошел залу, гостиную в стиле Louis XV, зеленую гостиную и очутился на пороге любимой нами мавританской комнаты. Сначала мне показалось, что в ней никого нет. Однако, спустя мгновение, я заметил мисс Мэри. Она стояла в амбразуре окна с таким видом, как будто ждала кого-то. Я не сразу увидел ее, так как она маскировалась со стороны гостиной широкими портьерами и висевшей между ними белой кружевной занавесью.

— Вероятно, ждет брата или миссис Стивенс, — подумал я. Однако, когда я тихонько приблизился к ней и проследил направление ее взора, то увидел, что все ее внимание обращено на дорогу, ведущую к коттеджу от дома Совета Старшин.

Кого она могла ждать с той стороны? Неужели меня? Я действительно с утра пошел на заседание по хозяйственным вопросам. Мы быстро покончили с ними, и затем я отправился по всем учреждениям острова. К моему коттеджу я подошел с тыльной стороны его и, конечно, мисс Мэри не могла заметить моего возвращения, равно как и знать, что я занимаюсь у себя в кабинете. Но я тут же выбралил себя за глупые мысли: мало ли что могло заставить девушку смотреть в окно?

Я нарочно вернулся, ступая на цыпочках, к двери и, слегка закашлявшись, пошел, как можно более тяжело ступая, по направлению к тому месту, где стояла моя гостья.

— Мисс Мэри, — окликнул я ее.

Девушка не слышала.

— Мисс Мэри, — повторил я уже громче.

Она вздрогнула, повернулась и, как-то чересчур поспешно откинув отделявшую ее от меня занавесь, с протянутой рукой пошла мне навстречу.

— Как, — вы здесь? — быстро проговорила она, вся зардевшись от неожиданности. — А я уже целый час смотрю, не покажетесь ли вы на дороге от дома Совета Старшин. Где вы пропадали так долго?

Пусть меня повесят, если в голосе моей собеседницы не звучали нотки упрека и скрытой радости. Вся кровь всколыхнулась во мне.

— Вы ждали меня, мисс Мэри? — спросил я, прикасаясь по обыкновению губами к ее руке.

Она задержала на миг в моей руке свои маленькие, теплые пальчики и, лукаво смотря мне в глаза, ответила:

— А вы как думаете?

Я пробормотал что-то неопределенное.

— Не знаете?

Она выдернула руку и на ходу уже, направляясь в наш любимый угол, бросила:

— Ждала и очень скучала без вас. Очень, слышите?

Я с секунду постоял в столбняке. Очевидно, такой же столбняк напал и на мое сердце. По крайней мере, оно на мгновение замерло в какой-то сладкой истоме, а затем бесшумно начало колотиться.

Глупое сердце... И сейчас, при одном воспоминании об этом маленьком инциденте, оно опять начинает прыгать. Не будьте ослом, старина Джон! Выпейте-ка виски — это отлично помогает в подобных случаях.

Вероятно, когда я садился на свое обычное место рядом с мисс Мэри (нас разделял только маленький столик), вид у

меня был достаточно глупый. Но через секунду я был уже снова самим собою.

— Вы большая кокетка, мисс Мэри, — сказал я, закури-
вая, с разрешения моей собеседницы, сигару. — Да, очень
большая. Если бы это было тридцать лет назад, я мог бы
вывести из ваших слов совершенно иное заключение, чем
сейчас.

— А именно? — смеющимися глазами, глядя на меня в
упор, сказала она.

— Гм...

— Что вас смущает?

— Видите ли, я всегда привык говорить женщинам прав-
ду.

— Это очень хорошая привычка.

— Вы находите? В таком случае, вы разрешите мне и
сейчас не отклоняться от этого принципа?

— Конечно.

— Ну, хорошо. Так вот, если бы то, что вы мне сказали
две минуты назад, было сказано мне на тридцать лет рань-
ше, то...

— Ну, договаривайте же. Какой же вы несносный!

— То я бы подумал, что вы равнодушны ко мне.

Она, все так же не сводя с меня взора своих огромных
лучистых глаз, тихо рассмеялась. Однако я заметил, что где-
то в глубине ее зрачков мерцали огоньки серьезности.

— А почему вы сейчас этого не думаете? — деловито и
даже строго спросила она.

Удивительные глаза у Мэри. Иногда из них потоками
льется невинность девушки и даже наивность ребенка. ино-
гда же я готов поручиться, что на меня смотрит женщина,
которой знакомы мужские ласки. Сейчас она смотрела имен-
но так. Из ее зрачков струились снопы горячего света и в
них яркими блестками вспыхивали манящие, многообещаю-
щие огоньки. Да, сейчас передо мной сидела не девушка, а
женщина. Женщина, искушенная в любви. Я, как зачаро-
ванный, не отрывал от нее своего взгляда.

— Ну? — услышал я снова. — Я жду.

Искорки в ее глазах перестали сверкать. Снопы света стали ровнее и потускнели. Женщина превратилась в девушку.

Это вернуло меня к действительности. Какие глупости! Вот что значит почти три года не знать женщин. Я отвел свой взор, пыхнул сигарой и равнодушно сказал:

— Вы спрашиваете, почему я не думаю этого сейчас? По очень простой причине: если в молодости никто не находил меня красивым, то теперь, когда мне под пятьдесят лет, смешно говорить о том, что я могу возбуждать в женщинах какой-либо интерес как мужчина.

Она серьезно посмотрела на меня.

— Милый мистер Джон, — разве красота — это все? Одно из двух: вы или большой лицемер, или человек, стоящий очень далеко от истинной оценки самого себя. Слышите?

— Сомневаюсь, — иронически улыбнулся я.

— Вы напрашиваетесь на комплимент? Тщетная надежда. Но неужели женщины никогда не говорили вам, что в вас есть то, перед чем физическая красота — полнейший нуль. Вы знаете, какое понятие означает французское слово *charme*.

Я вздрогнул, как от удара хлыста. Опять этот *charme*. Неужели и она? Это будет тридцать девятое разочарование. Деланно рассмеявшись, я поцеловал ее маленькую ручку и сказал:

— Дорогая мисс Мэри — если бы вы знали, сколько огорчений и тяжелых минут доставило мне в жизни это маленькое французское слово — вы, наверное, не произнесли бы его. А теперь идемте гулять на морской берег. Воспользуемся временем, пока солнце еще не раскалило все на этом клочке земли.

Мэри быстро взглянула на меня, отвела взор и, подымаясь с кресла, сказала...

Как вы думаете, что она сказала? Держу пари — вы никогда не угадаете. Она сказала:

— Какой вы глупый!

Через четверть часа мы шли по мягкому прибрежному песку, слушали ленивый шелест зыби и со смехом болтали

о всяком вздоре.

Вот и все, досточтимый мистер Джон Гарвей. Вот и все, что было сказано девушкой. Согласитесь, что у вас не было ни малейшего основания приходить в телячий восторг. Еще меньше основания выкидывать антраша и дарить камердинеру и повару по сто долларов.

Наоборот, дорогой сэръ, на вашем месте я пролил бы несколько слез над тем, что вы стоите на границе тридцать девятого разочарования.

Да, тридцать девятого. Ибо тридцать восемь женщин, нити жизней которых были переплетены с нитями вашей жизни, находили в вас этот проклятый *charmé*. При ближайшем же исследовании каждый раз оказывалось, что *charmé* скрывался не в вас, а в ваших семи миллиардах. Правда, теперь их у вас не семь, а пять, но увы, — я почти уверен, что и этого количества вполне достаточно для того, чтобы еще раз обнаружить присутствие *charmé*.

ГЛАВА VIII

Вот уже неделя с лишним, как я или совсем не появляюсь в партере или захожу туда очень ненадолго. В последнем случае я всегда стараюсь совместить свой визит с приходом других посетителей. Это очень удобный предлог, чтобы не оставаться наедине с мисс Мэри. Если же встречаюсь с ней случайно во время прогулки, то уже издали принимаю вид человека, который очень спешит и которому некогда тратить время на пустую болтовню.

Я решил, во чтобы то ни стало, подавить мое чувство и выбросить из головы праздные мечты. Раз дело дошло до *charmé*, это совершенно необходимо. И чем скорее, тем лучше. Я не хочу, чтобы Джефферсон оказался прав. Ах, да — вы ведь еще не знаете, что сказал этот достойный человек. Тысяча извинений — сейчас вам все станет понятным.

Вчера после утреннего завтрака мне пришла странная фантазия. Вместо того, чтобы отправиться на обычную прогулку, я взял книгу и прошел в беседку. Беседка эта тонула в гуще небольшого, но очень тенистого сада, примыкавшего к тыльной стороне коттеджа. Рано утром, когда солнце не успело еще нагреть воздух, или вечером, когда с моря начинал тянуть прохладный ветерок, в этой беседке было удивительно приятно и уютно.

Темные тона густой тропической зелени, не пропускавшей ни единого луча солнца, успокоительно действовали на нервы и давали возможность глазам отдохнуть от яркого, все пронизывающего собой солнечного света. Решетчатые стены беседки, сплошь обвитые плющом и диким виноградом, непроницаемой изумрудной стеной отделяли этот уютный уголок от внешнего мира. Тишина нарушалась только птичьим щебетом, да изредка звуком упавшей с большой высоты сухой ветки. В беседке стояли два удобных кресла и столик. Пол был устлан ковром.

Словом, лучшего места для любителя одиночества трудно было сыскать.

Я сидел, курил и читал Джека Лондона. Я очень люблю этого писателя. Его произведения уносят нас далеко от пошлой и скучной повседневности с ее мелкими волнениями и противными заботами. Герои Лондона — крепкие телом и духом люди. Они не боятся вступать в борьбу с жизнью и побеждать ее. Каждый рассказ талантливого автора действует на вас, как освежающий душ.

Я успел прочесть уже порядочное количество страниц, как вдруг внимание мое было привлечено звуком ленивых шагов по усыпанной гравием дорожке. Немного не доходя беседки, шаги затихли. Очевидно, шедшие или остановились, или уселись на стоявшую поблизости скамейку.

В то же время я услышал звук голосов. Говорили не слишком громко, но достаточно явственно для того, чтобы мой чуткий слух мог разобрать каждое слово. Первым моим побуждением было встать и, выйдя из беседки, обнаружить свое присутствие. Подслушивать, хотя и невольно, чьи-либо разговоры — не в правилах истинного джентльмена. Од-

нако, какая то неведомая сила приковала меня к месту.

— Да, дорогой Гопкинс, — услышал я голос Джефферсона, — не нравится мне все это. Очень не нравится.

— Гм... — промычал Гопкинс. — Кстати, как вы думаете, Джефферсон, нас здесь никто не подслушивает?

— Кому же нас подслушать? Мистер Гарвей ушел на свою обычную прогулку, молодая леди еще спит, а ее почтенный братец отправился, по обыкновению, совать свой нос во все дела, которые его ни с какой стороны не касаются. Не беспокойтесь — мы можем говорить совершенно свободно.

Наступила пауза. Я услышал, как чиркнула спичка. Очевидно, оба закуривали.

— Ну, — заметил наконец Гопкинс, — раз так, то выкладывайте, дружище. Что же вам именно не нравится?

— Все, начиная с появления в нашем доме молодой леди и ее брата. Я вам сказал это в первый же день. Помните? Что я вам сказал тогда?

— Точно не помню. Знаю только, что вы были очень недовольны.

— Да. Я сказал: помяните мое слово, Гопкинс, что теперь у нас в доме все пойдет вверх дном.

— Но вы не объяснили, на чем основывалось ваше предсказание.

— Я никогда не болтаю зря, Гопкинс. Хотя я был почти уверен в справедливости моего предположения, но все же я мог и ошибиться. Но теперь я вам скажу, почему я так думал. Видите ли, когда в дом, где живет не старый еще мужчина, попадает молодая, кокетливая и очень красивая женщина, то девяносто восемь шансов из ста говорят за то, что она будет вертеть этим мужчиной, как ей заблагорассудится. Скажите по совести, Гопкинс — разве я ошибся?

— Мне кажется, что если вы и ошиблись, то ненамного. Мой камердинер презрительно фыркнул.

— Я не ошибся ни на йоту, Гопкинс, — сказал он высокомерным тоном человека, изрекающего непреложные истины. — Слышите ли — ни на йоту. Разве молодая леди с первых же дней не вертит нашим господином? И разве он

в ее руках не сделался мягче самого мягкого воска? Но погодите, увидите, что будет дальше.

— А что же может быть дальше? — флегматично осведомился повар.

Джефферсон вдруг рассердился.

— Да что вы — ребенок, что ли? — почти крикнул он. — Что будет дальше! Дальше будет то, что эта особа — черт ее знает, кто она такая — приберет к своим маленьким ручкам все состояние мистера Гарвея. Помяните мое слово, что это будет так, Гопкинс.

— Ну и что же из этого? Отчего бы мистеру Гарвею и не жениться на молодой леди? Такую красавицу днем с огнем поискать...

Я как можно тише и осторожнее раздвинул плющ и успел еще заметить, как Джефферсон, глядя на своего собеседника, молча и укоризненно качал головой.

— Эх, Гопкинс, Гопкинс, — со вздохом сказал он наконец, — проницательности в вас ни на полцента. Она-то красавица, это верно. Да брат то ее очень уж нехороший человек. Иметь такого шурина — покорнейше благодарю. Врагу не пожелаю, не то что нашему господину.

— Да чем же не нравится вам мистер Джордж, или как там его зовут?

— Нехороший он человек, Гопкинс, говорю вам еще раз. Вот не знаю почему, а не нравится он мне, да и баста. Не нравится. Скверные у него глаза. А у кого глаза скверные, у того и мысли такие же. Головой своей ручаться готов, что замышляет он что-то дурное и против мистера Гарвея и против всех нас. И с молодой леди он не хорош.

— А что?

— Да так... Сколько раз я замечал, прислуживая им, что глаза у девушки заплаканы. А сам он сидит насупившись, как туча, и глядит куда то в сторону. И всегда он смотрит в сторону. Всегда. Хорошие люди так не смотрят.

— Что же — она каждый день так и плачет? — с явным любопытством спросил повар.

— Нет. Первое время я этого не замечал. А вот последние восемь-десять дней, так с утра уж заплакана. Просвет-

леет только тогда, когда братец ее любезный пойдет вынюхивать все да разговоры в городке разговаривать.

— Гм... А что же он говорит?

— Да так, особенного ничего. Расспрашивает каждого — кто он, откуда, чем раньше занимался, зачем на остров приехал. Скажите, мистер Гопкинс, подходящее ли это дело для джентльмена и сына паровозного короля, за которого он выдает себя?

— А вы думаете, что это неправда?

— Я ничего не думаю, Гопкинс. Я ничего не думаю. Я только говорю, что неподходящее дело для человека, носящего, как я слышал, старинную и родовитую дворянскую фамилию, толочься все время не в своей компании.

— Это-то верно, Джефферсон.

— Ну вот, то-то. И попомните мое слово, Гопкинс, ничего хорошего эти гости нам не принесут. Ничего хорошего — вот увидите. Ну а теперь идемте. Вам пора приготовить lunch, мистер Гарвей скоро должен вернуться с прогулки.

Вслед за тем я снова услышал скрипение гравия. Голоса стали затихать.

Милостивые государи — я чрезвычайно уважаю Джека Лондона и не думаю отказываться от высказанного мною недавно мнения о его таланте. Да, и не думаю. Но уверяю вас, что после невольно подслушанного мною разговора у меня пропала всякая охота к дальнейшему чтению. Точно так же и беседа, казавшаяся мне раньше верхом уюта, почему-то потеряла решительно всякую привлекательность... Щебетание птиц утратило всякую мелодичность и положительно раздражало меня. Глупые птицы. Трещат целый день и притом без всякого решительно повода!

Я вышел из беседки, прошел в свой «подвал» и лег на диван в кабинете. Это моя всегдашняя манера, когда мной овладевает дурное настроение. Я начал думать.

Прежде всего, мне необходимо было разобраться хорошенько во всем том, что помимо моей воли сделалось мне известным. Мысленно я подразделил все сказанное Джефферсоном таким образом: поведение Джорджа, отношения

между мною и мисс Мэри и отношения между нею и ее братом. Я постарался установить, какой из этих трех пунктов заслуживает наибольшего внимания.

Первый представлялся мне совершенно несущественным. Подозрения Джефферсона безусловно неосновательны. Насколько я знал людей вообще — Джордж представляется мне вполне порядочным человеком. Правда, его любознательность могла показаться с первого взгляда излишней. Но надо было принимать при этом во внимание ту необычайную обстановку, в которую почти чудесным образом он попал. Ведь для него существование моего острова явилось такой же неожиданностью, как для Колумба существование Америки. Естественно, такое обстоятельство не могло не пробудить с его стороны любопытства. Если оно даже и переходит границы приличия, то и в этом ничего ненормального нет. Тем более, что ни я, ни мои друзья до сих пор не нашли нужным посвятить Джорджа в сущность дела. Я уверен, что из тысячи самых порядочных людей девятьсот девяносто девять проявили бы такое же любопытство.

Нет, милый Джефферсон. Я очень ценю вашу преданность. Я знаю, что только она побудила вас высказать ваши подозрения против моего гостя, но... но право же, *vous êtes plus saint que le pape même**.

Второй пункт я признаю более заслуживающим внимания. Хотя бы уже потому, что он совпадает с моими личными взглядами. Обнаружение во мне в тридцать девятый раз *charm'a* очень удручает меня. И поэтому, Джефферсон, вполне присоединяюсь к вашему уважаемому мнению — мне надо держаться начеку и быть осторожным. Что же касается вашей уверенности в том, что мои миллиарды могут попасть в маленькие ручки мисс Мэри... Нет, — в этом отношении вы можете быть совершенно спокойны. Если этого не случилось в тридцати восьми прежних случаях, то почему должно случиться в данном? Конечно, надо ни на се-

* Вы святее самого Папы Римского (*фр.*). (*Прим. изд.*).

кунду не забывать мудрого изречения: осторожность — мать безопасности.

Мне неприятно только, что Джефферсон подметил мое отношение к мисс Мэри. Если об этом говорит он и Гопкинс, то, вероятно, говорят и другие. Вот это, действительно, нехорошо. Надо будет в корне пресечь эти толки. Конечно, не словами, а поступками.

Итак, по моему мнению, досточтимый Джефферсон, и второй пункт не заслуживает особого внимания. Мне кажется, что я напрасно огорчил четверть часа тому назад бедного Джека Лондона и оскорбил ни в чем не повинных птиц. Но дальше.

Ваши слова, Джефферсон, о заплаканных глазах молодой леди заслуживают, мне кажется, того, чтобы подумать о них. В самом деле, с чего бы плакать по несколько раз в день красивой молодой особе сангвинического характера и прекрасного здоровья? Насколько мне удалось выяснить из разговоров с мисс Мэри, она и брат давно уже лишились родных и живут вполне самостоятельно. Оплакивать, следовательно, некого. Плакать о разорении и расхищенном имуществе тоже как будто несвоевременно.

Скорбеть об утрате родины? Гм... Думаю, что на это вряд ли способны люди, мечтавшие о бегстве в чужие страны, как о величайшем счастье. Мне кажется, что мисс Мэри вряд ли может пожаловаться и на условия жизни в моем доме. К ее услугам — роскошь, комфорт, великолепный стол, библиотека, прогулки, катанья верхом и на моторной лодке. Скучать она не может — ее постоянно окружают мои друзья, а миссис Стивенс обожает ее. В общем, мисс Мэри живет в моих владениях не хуже, чем на любом фешенебельном курорте.

Насколько я мог заметить, брат питает к ней величайшую нежность и любит ее без ума. Держу пари, что скорее сестра огорчает брата, чем брат сестру. Так в чем же причина этих беспрестанных слез? В чем же, наконец, черт возьми?

А что... Что, если Джорджу не нравятся мои ухаживания за мисс Мэри? В конце концов, как я слышал, многие

русские помешаны на своей родовитости.

Впрочем — вздор. Чем я не партия для дочери русского эмигранта? И что может иметь Джордж против меня, как человека?

Что же тогда? Неужели... Гм... Джефферсон сказал, что мисс Мэри кажется особенно расстроенной последние восемь-десять дней.

При одной мысли о такой возможности я привскочил и переменил положение на сидячее. Черт возьми... Черт возьми! Если это так, то вы, мистер Джон Гарвей, — счастливейший человек в мире. Слышите, старина?

Восемь-десять дней... Это как раз то время, что я резко изменил свое отношение к мисс Мэри. Ровно десять дней назад между нами встал отвратительный призрак *charm'a* и заставил меня отдалиться от моей очаровательной гостьи. Неужели причина слез мисс Мэри — моя холодность к ней? Неужели тридцать девятый случай будет исключением, которого я напрасно искал всю жизнь?

Мне опять пришлось желание превзойти каннибала в его искусстве плясать. Но я во время сдержался. Какие глупости! Неудачная любовь и неудачные расчеты одинаково легко могут вызывать у женщин слезы. Помните это, уважаемый сэр. Стать идиотом никогда не поздно.

Я устал. Пора бросить весь этот вздор. Если я начну входить в душевные переживания всех окружающих меня людей, то моему другу, архитектору Гюи Смиту, скоро придется построить для меня новый коттедж. В нем не будет никакой мебели, а стены и пол его будут обиты толстыми, мягкими матрацами. Нет, я слишком уважаю милого Гюи для того, чтобы без особой надобности затруднять его проектами новых построек.

ГЛАВА IX

Чувствую себя очень утомленным. Сегодня — день моего рождения и, по давно установившейся традиции, он праздновался очень торжественно. По моему глубокому убеждению, на подобных торжествах гораздо приятнее быть гостем, чем хозяином. Особенно, когда этот хозяин не простой смертный, а глава самостоятельного государства. Сегодня, как и всегда в этот день, я превратился в говорильную машину. За это утро я успел наговорить гораздо больше, чем за три месяца нормальной жизни. Что поделать — у правителей не мало прав, но за то не мало и обязанностей. *Dura lex — sed lex**.

За десять минут до завтрака я выслушал последнюю приветственную речь последней поздравительной депутации, сказал в ответ все, что положено в таких случаях, и вздохнул свободнее. Половина официальной части праздника была закончена.

Я не буду описывать торжественный завтрак, на котором присутствовали все мои министры, первые чины моего государства, мои друзья и, конечно, мисс Мэри и ее брат.

Буду краток: мы много ели, много пили. А главное, опять говорили, говорили, — говорили без конца. Сначала каждый по очереди возглашал в мою честь тост. И каждому по очереди я отвечал. Потом начали говорить все вместе, в том числе и я, о чем попало. Потом... Потом опять говорили. И по очереди и все вместе.

Что же еще? Да, конечно, Гопкинс превзошел в своем искусстве самого себя.

А одетый в безукоризненный фрак Джефферсон прислуживал за сголом с таким видом, которому безусловно позавидовал бы первый камергер его апостолического, блаженной памяти, величества.

* Суровый закон, — но закон.

Я чувствую себя очень утомленным. Голова у меня тяжелая. Клонит ко сну. Но тем не менее я все же запишу самым подробным образом все события сегодняшнего дня. Это — знаменательный для меня день. И смею вас уверить, вовсе не потому, что мне исполнилось сорок девять лет.

После завтрака разошлись почти все присутствовавшие на нем. Остались только Стивенсы, Колльридж, мисс Мэри и Джордж. Пользуясь тем, что небо было облачно, а температура дня умеренная, мы решили совершить прогулку вокруг острова.

Случилось так, что во время подъема на горный кряж, по сравнительно узкой дорожке, мы разделились попарно. Впереди, ведя под руку запыхавшуюся миссис Стивенс, шел Джордж. Шагах в двадцати за ними — Колльридж и сам Стивенс. Затем мисс Мэри, а рядом с ней — я. Девушка шла вначале быстро, но потом, по-видимому, утомленная крутым подъемом, начала все больше и больше замедлять шаги. На середине пути мы отстали от впереди идущих шагов на сто.

Мисс Мэри, сначала отказавшаяся от моей помощи, неожиданно продела свою маленькую ручку под мой левый локоть и оперлась на него.

— Я устала, мистер Джон, — сказала она тоном избалованного ребенка. — Я совсем устала.

Я взглянул в ее прелестное, слегка порозовевшее от ходьбы лицо. Это лицо было так близко от меня, что я чувствовал на своей щеке горячее, неровное дыхание девушки. Ее плечо касалось моего плеча, а моя рука ощущала теплоту ее тела.

У меня слегка закружилась голова, — вероятно, причиной этому было выпитое за завтраком вино. Милостивые государи, — если вам предстоит далекая прогулка и особенно с крутыми подъемами, я категорически не рекомендую вам пить перед отправлением в дорогу вино. Я уже хотел высказать на эту тему несколько здравых суждений, как вдруг почувствовал, что моя спутница еще крепче прижалась ко мне. Подумав, что она чувствует себя плохо, я в

свою очередь прижал к себе ее руку. В то же время мисс Мэри наклонила слегка свое лицо и заглянула в мои глаза.

— Скажите, мистер Джон, — услышал я, — отчего вы избегаете меня все это последнее время?

В первый момент я обрадовался. Но сейчас же огорчился. Что я ей скажу? Разве я могу изложить те причины, которые заставляют меня избегать ее? Черт возьми, дернуло же меня идти на эту прогулку!

Я чувствовал, что если еще секунду наши взоры останутся скрещенными, я скажу какую-нибудь невероятную глупость. Поэтому я перевел взгляд на спину идущего впереди Колльриджа и ответил:

— Уверяю вас, мисс Мэри, я и не думаю вас избегать.

— Нет, вы меня избегаете.

— Да нет же, нет. Откуда вы это взяли?

Гм... Отлично шит костюм у этого Колльриджа: на его спине нет ни единой, самой крохотной, складки.

— Откуда я взяла? — медленно заговорила снова мисс Мэри. — Боги, только слепой мог бы не заметить, что это так. Вы больше не гуляете со мной, как раньше; вы не сидите у нас, как прежде, по целым часам; вы вечно куда-то спешите; вы вечно заняты; вы... Ну, словом, ясно, что брат и я вам надоели своим присутствием до крайнего предела. Посмейте отрицать, что вы не избегаете нас, а в особенности меня. Только посмейте...

— Мисс Мэри, — умоляюще заговорил я, — но как вы можете даже думать это? Как вам не стыдно? Я — избегаю вас? И вашего брата?! Уверяю вас, если бы не ваше присутствие, я хохотал бы над таким предположением, как безумный.

— Нет, нет, мистер Джон, вы так дешево не отделаетесь от меня и моих вопросов. Слышите? Извольте смотреть мне прямо в глаза. Вот так. А теперь повторите то, что вы сказали. Нет, нет — не смотрите на кончики моих туфель — они из самой обыкновенной белой замши. Ответьте: что заставляет вас сторониться меня?

— Мисс Мэри... Если бы вы знали, какая масса у меня последнее время неотложных дел и забот...

Я выпалил эту фразу с мужеством отчаяния, смотря как можно убедительнее в самке зрачки глаз, один взгляд которых туманил мой мозг. Голос мой при этом, как ясно чувствовал я сам, звучал более чем убедительно. Мне показалось, что мисс Мэри начинает колебаться. Да, так мне казалось, пока я не услышал звука ее голоса.

— Вы прекрасный артист, мистер Джон. И вполне владеете интонацией. Если бы вас не выдали ваши глаза — я совершенно искренне поверила бы вам.

Мне никогда не нравились мои глаза. Но в эту минуту я положительно их возненавидел. Напрягши всю свою волю, я попытался придать им самое наивное выражение и сказал:

— Но, мисс Мэри, поверьте...

— Никаких «но» и никаких «поверьте». Вы противный, скверный человек, мистер Джон. За что вы меня обижаете и за что вы меня мучаете?

О, как хорошо играют женщины в нужных случаях свою роль! Я готов был поклясться, что огромные, с поволокой глаза мисс Мэри подернулись влагой. А голос ее вибрировал. И очень, очень подозрительно. Смеем вас уверить.

Сердце у меня замерло. Вероятно, от сострадания. Во мне всегда был избыток сентиментальности. В былое время хорошая драматическая сцена в театре могла без особенного труда выжать из моих слезных мешков некоторое количество жидкости. Не скажу, чтобы много, но все же...

— Я... Я вас мучаю? Помилосердствуйте, мисс Мэри?!

Она ничего не ответила. Ничего. Только в упор смотрела на меня. А по ее щекам, одна за другою, медленно скатились две слезинки. Потом еще две, и еще...

—Противный вы, противный человек. Противный и не чуткий... Неужели же вы ничего не видите, ничего не замечаете и ничего не понимаете?

Гм... Что я должен был видеть, понять и заметить? О, боги! Как трудно ладить с женщинами. И в особенности с молодыми и красивыми.

Быстрая, как молния, мысль вдруг прорезала мой мозг. А что, если это не игра? Что, если действительно... Я по-

чувствовал, как в голову мне хлынула кровь. О, если бы это было так! С какой силой я сжал бы в объятиях это прекрасное тело. Какие ласки обрушились бы на это милое, бесконечно дорогое лицо. Какие слова любви и страсти потекли бы из моих уст...

Но грозный призрак *charm'a* в одежде из сверкающих миллиардов встал перед моими глазами. Проклятые миллиарды!

Я вспомнил, что ничто не действует так успокоительно на женщину, как ласка. Поэтому, быстро взглянув вперед и увидев, что наши спутники скрылись за крутым поворотом, я поднес к своим губам руку мисс Мэри. Я целовал ее, гладил ее бархатистую кожу и опять целовал. Я целовал, может быть, слишком много. Но если вы примете во внимание мою чувствительность и избыток таящейся во мне сентиментальности... Но, я вижу, — вы понимаете меня.

Маленькая ручка перевернулась и крепко прижалась ладонью к моим губам. Затем над самым моим ухом прозвучали шепотом произнесенные слова:

— Милый мой... Милый — неужели я совсем, совсем не нравлюсь вам?

В то же время я почувствовал что-то мягкое, нежное и теплое. Смешанный запах пудры, тонких духов и аромата женских волос проник в мои ноздри.

Пальчики руки, все еще крепко прижимавшейся к моим губам, с неожиданной силой надавили мне щеку и заставили повернуться влево мое лицо. Спина Кольриджа в замечательно сшитом костюме исчезла из поля моего зрения. Вместо нее передо мной были огненные, странно мерцавшие глаза. Эти два черных светоча, да еще пунцовый овал полуоткрытых, слегка вздрагивавших губ — вот все, что я заметил.

Милостивые государи — вы, конечно, будете смеяться. И теоретически вы совершенно правы. Но теория всегда расходится с жизнью. Да, да я очень хотел бы знать, как бы вы поступили на моем месте. И какой вообще процент из тысячи мужчин не сделал бы того, что сделано мною. Вы хотите знать, что я сделал?

Я приник к горячим губкам мисс Мэри долгим, чрезвычайно долгим поцелуем. Затем на мгновение оторвался, чтобы взглянуть в черные светочи, и опять приник. Потом еще и еще.

Я вижу, что ваши лица выражают неописуемое злорадство. Ваши губы опять кривятся в улыбку и что-то шепчут. Пожалуйста, громче — я не слышу. Что? Вы говорите, что никогда не сомневались в таком конце? Тем лучше для вас — это делает честь вашей проницательности.

Но я огорчу вас еще больше. Да, я не только поцеловал мисс Мэри четыре раза. Не только. Я еще сказал ей:

— Я люблю вас... Я люблю вас так, как никого и никогда еще не любил.

Только после этого я, со страхом и смущением, посмотрел вверх и вниз вдоль дорожки. Благодарение Небу — ни впереди, ни сзади нас никого не было видно. Наши ангелы-хранители надоумили нас остановиться в самом подходящем для данного случая месте: узкая дорожка шла здесь среди высоких, густо разросшихся кустов.

Ах, зачем, зачем вздумалось мне после завтрака идти на эту роковую прогулку? И почему мне понадобилось отстать от прочих моих спутников?

Подумать только, что скажет Джефферсон!

.
.

Продолжаю описание событий сегодняшнего дня. Обедали мы в интимной компании. Кроме участвовавших в описанной уже прогулке шести лиц, за столом никого не было. Все мы порядочно устали во время нашего путешествия. Однако то обстоятельство, что домой мы вернулись в шесть часов, а обед был подан только в восемь, дало нам возможность совершенно отдохнуть и оправиться.

Обедали в отличном настроении. Что же касается лично меня, то я должен констатировать, что ни один обед в жизни не показался мне более прекрасным. И, увы, я думаю, что Гопкинс и его страпня здесь не при чем. Мне ка-

жется, что если бы вместо тонких, изысканных блюд и отличного вина мне предложили походный рацион солдата и стакан простой воды — я чувствовал бы себя не хуже. Дело в том, видите ли, что против меня сидела мисс Мэри. Ее глаза при каждом удобном случае встречались с моими и... Милостивые государи, вы уже неоднократно выявляли вашу блестящую проницательность и я полагаю, что дальнейшие объяснения совершенно излишни.

Словом — веселы были все, хотя и по различным причинам. Был необычайно весел даже Джордж. А это с ним, насколько я заметил, случается нечасто. Да, Джордж положительно сиял. Я на несколько мгновений даже задумался, стараясь угадать причину его веселости. Но потом мысленно махнул рукой. Не все ли мне равно? Если ему весело — тем лучше.

Между прочим — он великий мастер пить. Я это давно заметил. В этом отношении, пожалуй, с ним не сравняться не только мне, но даже Стивенсу.

После обеда мы перешли в мавританскую гостиную. Мисс Мэри и я заняли наши любимые места. Остальные расположились где попало. Джефферсон принес кофе, сигары и ликеры.

Мы лениво болтали о разных разностях, как вдруг снова вошел Джефферсон. Подойдя к Колльриджу, он вполголоса сказал ему что-то. Тот сейчас же поднялся и вышел. Это никого не удивило: коменданта по разным надобностям тревожили довольно часто. Разговор продолжался.

Минуты через три Колльридж вернулся. Лицо его сияло, а в поднятой вверх правой руке виднелся довольно большой, сложенный пополам листок.

— Прекрасные новости, господа, — с торжеством воскликнул он. — Прекрасные.

И, обратившись уже ко мне, прибавил:

— Я думаю, дорогой друг, что вы не могли ждать лучшего подарка ко дню своего рождения.

Милый Колльридж! Он не знал, что я получил уже такой подарок, перед которым все соблазны мира не стоят ломаного цента. Но слава Богу, что он не знал.

— Что такое, Колльридж?

Я старался придать своему голосу напряжение высшего интереса. Но он прозвучал, кажется, довольно равнодушно. Что могло порадовать меня после той великой радости, которую я обрел сегодня днем?

— Наша станция перехватила замечательную радио-грамму. Прочтите, мой друг. И хорошо было бы сделать это вслух. Новости чрезвычайно интересные для всех нас.

Он протянул мне листок.

Это была весьма пространная и весьма замечательная по своему содержанию радио-грамма. Передавалась она в копии из Сиднея и предназначалась «всем, всем, всем».

Я не буду приводить полного ее текста. Он был составлен по трафарету и от начала до конца пестрил выражениями знакомого всем и давно приевшегося лексикона.

Суть радио-граммы была в следующем: анархия, царившая в России со времени падения коммунистического режима, кончилась. Бесконечная смена бессильных партийных правительств, ведущих к окончательной гибели раздираемую смутами страну, завершилась в ночь с седьмого на восьмое ноября провозглашением власти военного диктатора с вручением ему неограниченных полномочий.

Далее радио-грамма, разъясняя в панических выражениях всю неизмеримую опасность совершившихся событий, призывала всех к единению и к борьбе с черными силами реакции. Особенные надежды возлагались на красную армию и флот Китайской республики.

В заключение осторожно сообщалось о том, что после переворота в России начались восстания почти на всем континенте Европы, включая и Великобританские острова.

Вместо подписи стояло — СОНКВИРП. АЛЕКСАНДРИЯ.

В дешифровке это значило: совет народных комиссаров всемирного интернационального рабоче-крестьянского правительства.

— Что вы скажете на это, господа? — спросил я, окончив чтение.

— Что же сказать? — весь сияя, ответил Стивенс. — Случилось то, чего давно следовало ожидать: мир начинает ос-

вобождаться от безумия.

— Что касается меня, — заметил Колльридж, — я всегда полагал, что концом красного владычества может быть только монархия. Маятник, откачнувшийся слишком далеко влево, никогда не остановится посередине. Он перейдет мертвую точку и отклонится так же далеко вправо.

— Да, — задумчиво сказал я — законы механики неумолимы и непреложны: действие равно противодействию. И вы увидите, друзья мои, что поднявшаяся волна реакции зальет постепенно весь мир. Период хаоса и разрушения окончился. Начинается новая эра — эра творчества и созидания.

— Да, — услышал я слегка возбужденный голос мисс Мэри, — Высшее Существо, правящее вселенной, очнулось от Нирваны. И взоры Его прежде всего обратились на мою несчастную Родину.

Я с удивлением посмотрел на нее.

— Вы знакомы с этим учением браманистов, мисс Мэри?

— Почему же нет? — улыбнулась она. — Вы удивлены?

— Немного. Я не предполагал, что такая хорошенькая головка, как ваша, может интересоваться подобными вещами.

— О, в моей голове подобных сведений больше, чем вы можете предполагать. Правда, они очень отрывочны и бессистемны. Но все же...

— А что это за учение? — осведомилась миссис Стивенс. — К стыду своему должна сознаться, что я очень мало занималась философскими вопросами.

— Это очень интересная доктрина, — сказал я. — Дело в том, видите ли, что по учению браманистов вся вселенная есть не что иное, как воплотившаяся мысль Верховного Существа. Все, что мы видим, а равно и то, чего мы, по несовершенству своему, видеть не можем — есть отражение этой Верховной мысли. Божество мыслит — другими словами, оно творит. Однако, по недоступным нашему пониманию законам, и для Божества наступают периоды, в которые ослабевает напряжение Его мысли. Если можно так вы-

разиться — Бог устает творить. Тогда Он погружается в Нирвану, в небытие, как бы в особый божественный, необходимый Ему для отдыха сон. И вот вселенная, предоставленная самой себе, теряет импульс к жизни. Мысли Божества дремлют, сила их не направлена больше к созиданию нового и поддержанию уже созданного. Биение пульса жизни вселенной, дошедшее в данном периоде до кульминационной точки, становится постепенно все слабее и, наконец, окончательно замирает. Начинается регресс мироздания.

Предоставленный самому себе, а может быть, даже и злему началу, мир начинает приходить в упадок. История нашей планеты насчитывает множество примеров такого упадка. Но каждый раз за таким периодом неизменно следует период подъема. По учению браманистов, момент начала возрождения совпадает с моментом пробуждения от Нирваны Верховного Существа, правящего вселенной.

— Боже, как это интересно! — воскликнула экспансивная миссис Стивенс. — Значит, по вашему мнению, Бог опять начинает вспоминать о нас и нашем ничтожном мире? Значит, все опять пойдет по-прежнему и все мы проживем, как жили раньше?

Все, не исключая и самой миссис Стивенс, рассмеялись.

— Увы, — сказал я — я ничего не могу обещать вам, миссис Стивенс. Это не мое мнение, а мнение последователей учения Браммы. Я сказал только, что, судя по радио-грамме, красный туман, заволакивавший мозги человечества в течение долгих лет, начинает как будто разбиваться. Если мы не без основания считаем красную эпоху человечества эпохой разрушения и упадка, то надо полагать, что совершающийся теперь в Европе перелом знаменует собою наступление эры возрождения. Вот и все, что я хотел сказать.

— Мне кажется, что вы ошибаетесь, мистер Гарвей, — медленно заговорил Джордж. Против обыкновения, он смотрел на меня в упор и в глазах его сверкали какие-то недобрые огоньки. — Да, мне кажется, что вы ошибаетесь. По моему мнению, то, что совершается сейчас в Европе, вовсе не перелом. Это просто рецидив, один из тех, которые бы-

вали уже десятки раз. Припомните, сколько неудачных революций и реставраций было повсеместно на протяжении этих лет.

— Милый Джордж, — раздался вдруг как-то странно звенящий голос мисс Мэри, — в случаях, о которых ты говоришь, попытки не могли не окончиться неудачей.

— Ты думаешь? — саркастически спросил Джордж сестру. — Почему же?

— По очень простой причине, мой милый: старая истина гласит, что никогда не следует срывать незрелый плод.

— А ты полагаешь, что сейчас этот плод уже созрел? — Джордж говорил спокойно, но в голосе его слышались нотки сдерживаемого раздражения. Глаза его потемнели и из них вдруг высунулись две тонкие, острые колючки. Мисс Мэри спокойно скрестила свой взор со взором брата и, помолчав с мгновение, твердо сказала:

— Я полагаю, что плод не только созрел, но даже перезрел. Когда над великим народом в течение долгого ряда лет проделывают безумные, кровавые опыты; когда все без исключения опыты эти кончаются неудачей; когда исключительно благодаря им на одну из величайших и богатейших стран обрушиваются неслыханные бедствия; когда житница Европы обращается в пустыню, а из почти двухсотмиллионного народа остается в живых не более четверти — я считаю, что плод пора срывать. И что, будучи сорван, он принесет надлежащую пользу.

Пока горячо, взволнованно и даже вызывающе говорила мисс Мэри, я внимательно наблюдал за ее братом. Не знаю, заметил ли он это или закипавшее в нем раздражение внезапно улеглось само собой, но только вид его совсем преобразился. Лицо утратило выражение жестокости, колючки, остро торчавшие из зрачков, исчезли в глубине глаз, на губах заиграла веселая усмешка. Он пыхнул сигарой, прихлебнул кофе и с довольным видом потер себе руки.

— Bravo, bravo! — живо воскликнул он. — Я никак не ожидал такого быстрого результата, Мэри. Обыкновенно мне надо затратить значительно больше времени и усилий для того, чтобы своими поддразниваниями довести тебя

до такого состояния, как сейчас.

И, целуя руку сестры, он прибавил, обращаясь уже ко всем нам:

— Ужасная она у меня злючка. Но это ничто в сравнении с тем, что было раньше. Мой метод лечения, может быть, и очень оригинален, но зато весьма действителен.

— Метод лечения раздражительного и вспыльчивого характера? — спросила со смехом миссис Стивенс. — В чем же он состоит?

— О, это весьма простой способ. По моему глубокому убеждению, дурные задатки или просто неприятные стороны характера могут быть очень легко искоренены во всяком человеке. Нужно только как можно чаще заставлять пациента выявлять теневые стороны его «я» в присутствии посторонних людей. Уверяю вас, это прекрасно действует.

— Очень остроумный способ, — сказал Стивенс. И, шутливо глядя на свою жену, продолжал: — Вы не находите, Рени, что, руководствуясь методом мистера Джорджа, можно исправить многие и многие характеры?

— Если в данном случае вы подразумеваете себя, — нимало не смутясь, так же шутливо отпарировала миссис Стивенс — то я думаю, что на вас даже этот замечательный метод не окажет должного влияния.

Все рассмеялись.

— Ужасно противный у меня брат, — обратилась ко мне мисс Мэри. — Видели ли вы когда-нибудь такое отношение к родной сестре?

Для всех присутствовавших тон девушки звучал только юмористическим негодованием, но для меня...

Ах, не знаю почему, но мне показалось, что произнесенная ею фраза далека от шутки. Прежде, чем ответить, я поспешил взглянуть в глаза мисс Мэри, но она уже успела отвести свой взор. И тут же я упрекнул себя. Какие глупости! Откуда во мне эта подозрительность? Во всем видеть какой-то тайный смысл. Просто невыносимо, наконец ...

И я твердо решил, что в словах мисс Мэри не было и не могло быть никакого тайного смысла.

Однако, поддерживая наладившийся вновь беззаботный разговор, я никак не мог отделаться от зародившихся во мне подозрений.

Мне припомнилось, как однажды Джордж сказал: «Нет ни хороших людей, ни дурных. Все одинаковы и во всех равно заложены как хорошие, так и дурные задатки. Весь вопрос в том, какие из них пришлись человеку более по вкусу к моменту его сознательной жизни. Я разделяю всех людей на три разряда: руководствующихся в своей жизни дурными инстинктами, руководствующихся хорошими и, наконец, руководствующихся и теми и другими одновременно. Первых зовут негодьями; вторых — людьми порядочными и благородными; про третьих принято говорить, что они так себе — относительно приличные люди».

Я незаметно скользнул взглядом по лицу Джорджа и подумал: а к какой категории принадлежите вы сами, милостивый государь? Кто вы — негодяй, человек порядочный и благородный или «так себе — относительно» приличный.

Увы, я не находил ответа на этот вопрос. Одно только было для меня ясно: кем бы ни был Джордж — не подлежало сомнению, что он великолепно привык владеть собой во всех случаях жизни.

Да, я дорого бы дал, чтобы иметь возможность проникнуть в тайники мыслей этого человека, очень дорого! Сопоставив события сегодняшнего вечера с тем, что говорил Гопкинсу Джефферсон, я решил быть настороже.

Прежде всего, мне надо было поближе сойтись с моим гостем. Люди познаются только через общение. А до сего дня я уделял Джорджу очень мало времени.

Надо будет исправить этот важный промах.

.
.

Четыре часа ночи. Я давно уже закрыл свою тетрадь. Пора бы и в постель. Но спать не хочется. Назойливые воп-

росы, вопросы, как я сам хорошо понимаю, неразрешимые, встают в мозг.

Странное дело! не знаю почему, но мне кажется, что вокруг меня затягивается какая-то сеть. Отвратительное чувство...

ГЛАВА X

Я счастлив. Счастлив так, как не был еще никогда в жизни. У меня все время такое ощущение, как будто за моей спиной выросли огромные крылья. Я парю высоко-высоко над землей, парю легко и свободно. Все мелкое, будничное осталось где то далеко внизу и представляется мне в виде крохотного туманного пятнышка; настолько крохотного, что оно тонет без остатка в окружающем меня океане почти неземного благополучия.

Джон Гарвей, мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка — в вашей жизни было несколько дней, которые вы не без основания считали счастливейшими днями. Давайте припомним их. В первый раз, если не ошибаюсь, маленькие крылышки приподняли вас на несколько футов над землей в тот день, когда девятнадцатилетний клерк фирмы «Торговый дом Бурбенк и Сын» удачной операцией на бирже превратил свои скромные сбережения в несколько тысяч долларов. Это был великий момент.

Он сразу поставил вас на те рельсы, по которым вы так удачно катились в течение последующих лет вашей жизни.

Шесть лет спустя, ваши крылья выросли и окрепли настолько, что дали вам возможность подняться уже на несколько ярдов. В этот день, подведя итог своему состоянию, вы увидели, что оно превышает миллион долларов. Насколько я помню, — этот момент показался вам несравненно счастливее первого.

Прошло еще пятнадцать лет. Ваши крылья приобрели крепость, стали и выросли в целые паруса. Вы взвились на такую высоту, что в первый момент у вас даже закружилась голова. Вы помните — это было в тот день, когда вы, опираясь на созданный вами Синдикат соединенных трестов, стали негласным повелителем континента.

В этот день вы сказали себе: Джон Гарвей! Вы достигли зенита вашего счастья. Парите недвижно и осторожно и помните, что с этой точки для вас есть только один путь — вниз.

Да, так думал тогда Джон Гарвей. Но, милостивые государи, он был хотя и высоко вознесенный, но все же только человек. И, как всякий человек, он ошибался.

Да, вы ошиблись, уважаемый сэр. Возносясь вверх по широкому пути, вы приковали свой взор к сверкающему конгломерату, слитому из богатства, могущества и славы. Он отуманил ваш мозг и вы не заметили, что к истинному зениту счастья ведет еще другой, менее блистательный путь — путь любви.

Когда я думаю об этом — мне жаль ряда долгих, прожитых вами годов. Неужели, кроме обманувших вас женщин, вы не могли в свое время отыскать на всем континенте одну действительно достойную? Конечно, могли. Но нужно было искать самому, а не ждать, пока вас найдут.

Благодарите Небо за то, что оно не оставляет вас своими попечениями. И берегите тот дар, который оно послало вам на закате дней. Помните, что мисс Мэри — ваша первая и последняя любовь.

.
.

Сомнения в искренности чувства ко мне мисс Мэри все реже и реже беспокоят меня. Все мои наблюдения, анализ всех наших разговоров и поступков девушки говорят за то, что мне не грозит тридцать девятое разочарование.

Вчера, кажется, в первый раз в жизни, я целый час провел перед большим трехстворчатым зеркалом, рассматри-

вая себя со всех сторон. Джефферсон, три раза входивший за это время в комнату, был, по-видимому, чрезвычайно удивлен необыкновенным занятием своего господина. Конечно, лицо его, как и всегда, хранило каменное и безучастное выражение, но я достаточно знаю моего слугу для того, чтобы читать его мысли. Воображаю, что он говорил Гопкинсу.

В результате моих исследований я пришел к убеждению, что кое-что действительно говорит в пользу присутствия во мне *charm'a*. Во-первых — у меня отличная фигура: сильная, пропорционально сложенная и в то же время гибкая и стройная. Во-вторых — я всегда очень элегантно одет, а платье мое прекрасно сшито. В-третьих — я довольно тщательно слежу за своей наружностью. Осанка же у меня в худшем случае министерская.

Я далеко не глуп, разговорчив, порою остроумен. Лицо мое нельзя назвать красивым, но оно безусловно симпатично. И уж, конечно, не производит отталкивающего впечатления.

Чего же еще? Нет, мисс Мэри права: красота для мужчины — вещь второстепенная, если не третьестепенная.

Что касается моих миллиардов... Но откуда мисс Мэри может знать о них? Если они у меня были, это не значит, что они есть. Точное состояние моей кассы знаем только я, Колльридж, Стивенс и мой министр финансов, человек далеко не болтливый. В присутствии же моих невольных гостей я никогда этого вопроса не касался.

И в тысячный раз я сказал себе, что, не поверив в искренность чувства мисс Мэри, я сам себе выдал бы патент на звание величайшего осла.

.
.

Теперь для меня уже нет сомнения в том, что я любим. Любим глубоко и горячо. И люблю сам.

Уходя около полуночи из партера, я едва могу дожидаться следующего дня, и утром мне кажется, что я не ви-

дел мисс Мэри целую вечность... Я провожу с нею все свободное от занятий время. Их, благодарение Небу, немного у меня, этих обязательных занятий. И я наслаждаюсь обществом дорогого мне существа почти неотъемлемо. Каждый день несколько часов, так или иначе, мне удастся побыть с ней наедине.

Мы или гуляем, забираясь при этом в самую глушь острова, или сидим у моря, или, наконец, уйдя на далекое расстояние, без цели носимся на «Плезизавре» по безграничному, бархатисто-синему простору океана.

Мне кажется, что наши отношения с мисс Мэри не составляют больше тайны ни для кого из окружающих нас. По крайней мере, как-то всегда получается так, что на прогулки нас никто не сопровождает. Я долго думал, чему это приписать: случайности или тайному безмолвному соглашению?

Впрочем, не все ли равно? Ничего дурного никто в наших прогулках не видит. Мои взгляды на отношения к незамужним женщинам всем хорошо известны. В худшем случае, могут предположить только флирт. В лучшем — серьезные намерения с моей стороны.

Есть ли у меня на самом деле такие намерения? Право, не знаю. Я как-то еще не думал о том, к чему может привести мое увлечение. Не то, что я не хочу отдать себе отчет, а просто для этого мне не хватает времени. Когда я остаюсь наедине, я мечтаю о новой встрече. Когда мисс Мэри со мною — я забываю все на свете.

Я часто с ужасом замечаю, что мне становится все труднее и труднее владеть собою в минуты наших уединенных свиданий. Боюсь, что во мне просыпается если не зверь, то во всяком случае первобытное существо. Я уже очень давно отдалился от женщин. Очень... и внутренне бледнею при мысли, что мое первобытное «я» может проснуться и взять верх надо мною. Что, если оно вырвется наружу? Что, если рухнет хрупкая преграда, сотканная из морали и принципов порядочного человека? Что тогда?

Когда я оставался один или когда мы сидели с мисс Мэри в обществе наших друзей, такой исход моих отношений

с девушкой казался мне невероятным и диким. Но когда я держал ее в своих объятиях, когда ее горячие губы прилипали чувственными поцелуями к моим, когда при этом кипящий поток крови начинал проноситься по жилам — мною овладевало безумие. Темперамент этой женщины какими-то невидимыми токами вливался внутрь меня и заражал своим горением мою холодную натуру англосакса.

В такие минуты мой дух стоял на границе позорного поражения. И мне тем труднее было удержать в своих руках победу, что, по совести говоря, я не мог надеяться на особенно упорное сопротивление девушки. Не потому, чтобы ее взгляды в моральном отношении были неустойчивы или чтобы она была так называемой «женщиной без предрассудков». Далеко нет. В глубокой порядочности мисс Мэри в этом отношении я был убежден. Но... Но, во-первых, в чем я совершенно ясно убедился, она была чересчур сильно увлечена мною, а во-вторых... Во вторых, повторяю, она — славянка, т. е. женщина, у которой, как и у всех людей ее расы, чувство и темперамент всегда доминируют над рассудком.

Особенно боялся я дальних катаний на «Плезиозавре». Морских, а не воздушных. От последних мисс Мэри после первого же опыта раз и навсегда категорически отказалась: ее нервы не переносят высоты.

Да, эти прогулки очень страшили меня. На острове, даже в самых укромных его местах, мы никогда не чувствовали себя в безопасности. Так или иначе, с того или другого места, за нами всегда мог следить чей-либо взгляд. Может быть, даже чисто случайно, без всякого умысла.

Это чувство было не только у меня. Я заметил, что в какой бы части острова мы ни находились и какие бы густые заросли нас ни скрывали, мисс Мэри не переставала тревожно оглядываться.

Это даже сердило меня. Помню, я сказал однажды:

— Какая вы несносная, со своей вечной подозрительностью и осторожностью. Ну, подумайте — кому нужно следить за нами? Я понимаю, если бы у вас были еще какие-нибудь данные...

Она серьезно посмотрела мне в глаза и тихо проговорила:

— А почему вы думаете, милый, что у меня их нет?

Она говорила почти с убеждением. На одно мгновение я был озадачен. Но сейчас же рассмеялся.

— Глупости. Сразу видно, что вы недавно покинули континент. Там все бродят в красном тумане и все помешаны на шпионстве и доносах. Правда, не без основания.

Она хотела что то возразить. Но потом, видимо, раздумала. Только, уже когда мы возвращались домой, ее рука крепко прижалась ко мне и я услышал, как она тихо-тихо проговорила:

— А все-таки надо быть осторожными. Часто люди многого, очень многого не знают. А главное — думают об окружающих гораздо лучше, чем следует.

Пусть я не буду Джон Гарвей, если голос мисс Мэри не звучал предостерегающе. Что бы это значило?

Чего я мог не знать и о ком я думал лучше, чем следовало?

Эта вечная, и как мне казалось, беспричинная подозрительность мало-помалу передалась и мне и заставила меня держаться осторожнее. Вот почему на территории острова я не так боялся страшного демона желаний, проникавшего в меня вместе с поцелуями мисс Мэри.

На «Плезиозавре» было опаснее. Там мы были, правда, в непосредственной близости других людей, но в то же время мы были в пустыне.

Дело в том, что в наши дальние прогулки сопровождал нас обыкновенно один Стивенс. Он, как и я, необычайно любил управлять «Плезиозавром» и не упускал положительно ни одного случая лишний раз проделать это. Была еще и другая причина, по которой Стивенс почти всегда сопровождал нас: только он и я знали наизусть план подводных минных полей и только мы могли вести без карты субмарины по довольно сложным коридорам этих полей.

Обыкновенно мы проходили довольно далеко от острова под водой и только потом уже совершали прогулку по поверхности океана.

Иногда мы все вместе сидели в рубке, иногда же я и мисс Мэри уходили в мое помещение, состоявшее из спальни, столовой, курительной, кабинета и салона. Вот здесь-то мы и чувствовали себя, как в пустыне. Стивенс и Джонсон сидели в рубке, а помещение судовой команды находилось далеко от нас, на другом конце корабля.

Стены из двойных листов «атранита», проложенных толстым войлоком и обитых гобеленами, не пропускали ни к нам, ни от нас ни одного звука. Если мы шли под водой, то даже дневной свет не проникал к нам. Мягкая мебель, ковры и ярко горевшие электрические люстры придавали салону в этом случае необыкновенно уютный вид.

Эти моменты и были самые страшные для меня. Близость любимой женщины, ее ласки, от которых вспыхивала кровь, полная безопасность — все это вместе взятое заставляло меня замирать от восторга и в то же время трепетать от страха. Гнусный демон желаний нашептывал мне соблазнительные речи, а первобытное существо, сидевшее во мне, начинало рваться и неистово напирать на хрупкую, удерживавшую его преграду.

Однажды ... Но лучше я расскажу все по порядку.

Дневная жара только что спала. Когда «Плезизавр» вынырнул на поверхность моря и были откинuty закрывавшие потолок щиты, внутренность судна осветилась красноватым светом заходящего солнца. Взяв курс N. W., мы пошли полным ходом. Я передал управление судном Стивенсу и сказал, обращаясь к мисс Мэри:

— Хотите, выйдем на палубу?

— Нет, — ответила она, — если вы ничего не имеете против, я предпочла бы пойти в ваш салон. Ход сейчас настолько велик, что на палубе не особенно приятно. Прикажете только открыть все рамы.

— Как вам будет угодно, — поклонился я.

Мы вышли из рубки, прошли по коридору и через минуту очутились в салоне. Когда были откинuty щиты и вдвинуты в специально устроенные пазы огромные диски хрустальных иллюминаторов — в каюту, вместе с пьянящим

ароматом моря, ворвался тот же красноватый свет угасавшего дня.

Было тихо — совсем тихо. Только снизу доносилось мягкое, едва слышное постукивание моторов, да с поверхности моря слышалось равномерное шипение воды, разрежаемой носом «Плезিозавра». Мы были одни во всем мире.

Мисс Мэри опустилась на мягкий угловой диванчик, поставила сесть рядом меня и, обхватив мою голову руками, прильнула ко мне всем телом. Я почувствовал, как под высоким корсажем неровно и сильно бьется ее сердце.

— Милый, милый, — прошептала она, близко-близко заглядывая мне в глаза — как хорошо, как хорошо...

Глядя меня по щекам, она начала осыпать меня всеми нежными и ласкательными именами. И все время она смотрела в мои глаза каким-то странным мерцающим взором. Это мерцание становилось все ближе и ярче. И вдруг исчезло за опустившимися веками. В это мгновение губы наши соединились в жгучем поцелуе. Голова моя закружилась и я почувствовал, как обитавший внутри меня демон обрушился на удерживавшую его преграду. Я понял, что сегодня мне предстоит тяжелая борьба.

А горячее дыхание мисс Мэри обжигало мне лицо и над самым моим ухом слышался шепот:

— Милый, мой милый... Когда же? Когда? Когда же, наконец, ты перестанешь мучить меня и себя? Ах, как это ужасно...

Я совершенно ясно почувствовал, что еще одно усилие — и демон освободится.

И вот, до крови прикусив себе язык, мысленно сказал:

— Джон Гарвей — призываю вас к порядку. Призываю вас к порядку, Джон Гарвей! Еще одно мгновение слабости — и вы окажетесь бесчестным негодяем. Слышите?

Резким движением освободившись из объятий Мэри, я отодвинулся в сторону. Потом взял обе руки девушки, крепко сжал их в своих и, пристально глядя ей в глаза, твердо сказал:

— Ты спрашиваешь — когда? Тогда, когда ты примешь, наконец, мое предложение и станешь моей женой. Только

тогда. Ни секундой раньше.

И вот, как и неделю назад, когда я впервые предложил Мэри стать моей женой, я заметил, как в лице ее происходит страшная и непонятная мне перемена.

Глаза, горевшие огнем страсти, вдруг померкли, полураскрытые губы плотно и как-то болезненно сжались, лицо осунулось и приняло страдающее выражение.

Тихо освободив свои руки и заломив пальцы с такой силой, что они хрустнули, Мэри полузакрыла глаза, запрокинула голову и из губ ее со стоном вырвались поразившие меня недоумением и даже каким-то непонятным страхом слова:

— Я не могу, не могу... Не могу, милый. Если ты меня любишь — не настаивай на своей просьбе. Не мучь меня... И не расспрашивай. Ничего не расспрашивай. Ах, почему я так несчастна...

И, опрокинувшись назад, она в пароксизме отчаяния уткнулась лицом в диванные подушки. До меня долетел звук сдержанных рыданий.

Сердце во мне упало. Джон Гарвей никогда не мог выносить вида плачущих женщин. Я наклонился и осторожно взял маленькую ручку, судорожно комкавшую между пальцев смятый в комок платочек. С трудом освободившись от странной спазмы, сжавшей мне горло, я сказал:

— Вы не любите меня, Мэри? Вы совсем не любите меня?

Она ничего не ответила. Только тело ее начало еще больше вздрагивать.

— Если бы вы любили меня, что могло бы помешать вам согласиться на мое предложение и стать моей женой? Что?

И вдруг у меня мелькнула жуткая догадка.

— У вас есть любимый человек на континенте? — сказал я. — Вы связаны с ним словом?

Она не отвечала.

— Мэри... Да? Я не ошибся?

Ее пальчики неожиданно сжали мою руку и я услышал:

— Нет...

— Но что же тогда? Что? Скажите, что мешает вам быть моей женой?

Опять долгое молчание. Только подавленные всхлипывания и короткие вздрагивания тела.

— Мэри?..

Молчание.

— Ваш брат против нашего брака?

— Нет...

— Боги! Но что же тогда?

— Я не могу, не могу... Я ничего не могу сказать вам. Слышите? Оставьте меня... Оставьте. Не спрашивайте и не мучьте... Уйдите.

Я рассердился. Милостивые государи! Когда женщина капризничает — это неприятно; когда она плачет по серьезной и уважительной причине — это больно и тяжело; но когда абсолютно свободная, горячо любимая вами женщина уверяет, что любит вас и в то же время без всякого объяснения причин отказывается стать вашей женой — это уже глупо.

И я, несмотря на весь избыток во мне чувствительности, рассердился. Очень рассердился.

Я молча встал, прошел в столовую и, подойдя к буфету, налил стакан виски и залпом выпил его. После этого я закурил сигару, вернулся в салон и, усевшись в дальний угол, погрузился в мрачные размышления.

Вы, вероятно, догадываетесь о чем я думал. Конечно, о неудачах, которые всю жизнь преследовали меня при встречах с женщинами. О тридцати восьми разочарованиях, о *charm'e* и о последней в моей жизни иллюзии, готовой рассыпаться в прах. Но главным образом я думал о том, почему эта, столь любимая мною девушка, не хочет стать моей женой. Почему? Почему она хочет принадлежать мне и в то же время не соглашается, чтобы я назвал ее своей на законном основании? Законном перед Богом и людьми?

И вдруг мне показалось, что я понял. Почему? Просто потому, что... Ах, милостивые государи, есть слова, которые нелегко сказать даже самому себе. Да, очень нелегко.

Но я все-таки сказал то, что хотел. Я сжал зубы и, не обращая внимания на боль, щемившую мне сердце, закончил свою мысль и вылил ответ в твердую форму.

— Потому, — сказал я себе, — что эта девушка испорчена до мозга костей. Потому, что она отравлена ядом разврата, царящего сейчас во всем мире. Потому, что я для нее лишь один из бесчисленных эпизодов проявления ее дурных наклонностей. Выйти замуж — значить обуздать себя. А это, по-видимому, не в ее характере.

Моя душа окуталась черной мглой. Но в этой мгле все было так же ясно, как в сердцевине черного бриллианта.

Вам понятно, мистер Гарвей? Да, мне кажется, что вам все понятно. Вы можете присоединить это новое разочарование к числу прочих. Да, к числу прочих. И все тридцать девять заключить в оправу своей памяти. Это будет прекрасный *souvenir* для такого старого осла, как вы.

Все еще лежавшая неподвижно, но уже затихшая Мэри вдруг порывисто поднялась с дивана. От резкого движения ее тяжелая коса упала вниз и рассыпалась вдоль тела густыми золотистыми волнами. В рамке этих шелковистых прядей ее побледневшее, тронутое душевным страданием лицо казалось лицом мадонны.

Зачем она так прекрасна?

Быстро пройдя отделявшее нас расстояние, Мэри, неожиданно для меня, опустилась возле моего кресла на колени. Прежде, чем я мог помешать ей, она взяла мою руку и приникла к ней губами.

— Вы разлюбили меня? — сказала она. — Да, разлюбили? — Не отрицайте. Я вижу это по вашему лицу. И я разгадала, почему: вы решили, что я скверная, развратная девчонка? Молчите, молчите. Я знаю, что это так.

Удивительно, как умеют женщины читать чужие мысли! Вы плохой актер, мистер Джон Гарвей. Плохой актер.

Я молчал, не подымая взора. К чему говорить? Если она угадала мои мысли — тем лучше. Это избавляет меня от неприятных объяснений.

Но взгляд гипнотизирующих меня глаз дошел, наконец, до такого напряжения, что я не мог не поднять своих

опущенных век. Я поднял их. И то, что я увидел, заставило дрогнуть мое начинавшее черстветь сердце.

Вам угодно знать, что я увидел?

Из глаз Мэри лился на меня поток такой неутешной скорби, такого отчаяния и такой светлой и чистой любви, что...

Нет, я ошибся. Так смотреть не могут развратные женщины. Не могут, не могут, не могут.

Жгучая волна стыда и нестерпимо-сладкой радости затопила мне душу.

Непреодолимый порыв заставил меня нагнуться к милому, вновь обретенному мною лицу. Я гладил его, ласкал, целовал. А из широко раскрытых, немигающих глаз Мэри ровными, горячими струйками стекали слезы. Они увлажняли мои щеки, губы, ладони моих рук.

— О чем вы? О чем вы плачете, Мэри? Я ничего не думаю, право, ничего не думаю...

— Вы не думаете больше, что я скверная?

— Нет. Поверьте мне — не думаю.

Она погладила меня по лицу.

— Мой милый, мой славный. Если бы я могла вам рассказать все... О, если бы я только могла...

Расспрашивать было бесполезно, по крайней мере сейчас. И я молчал, молчала и Мэри.

— Но вы любите меня? — спросила она вдруг в порыве какого-то страха. — Любите? И верите, что я люблю вас?

Что я мог ответить?

— Да, я верю. Верю и люблю. Но мне очень больно и я очень страдаю. Очень.

— Не больше, чем я, — ответила она. — Милый, не знаю, почему, но мне кажется, что...

— Что вам кажется?

— Что мы все-таки никогда не расстанемся с вами.

Раздавшийся звонок телефона помешал мне ответить. Я встал и приложил к уху трубку. Говорил из рубки Стивенс.

— Уже стемнело, мой друг. — Не пора ли домой? Нам не менее полутора часа ходу до острова.

— Да. Очень даже пора. Гопкинс, вероятно, рвет и мечет.

Только сейчас я заметил, что в салоне было почти темно. Я зажег люстру и, когда Мэри оправила перед зеркалом волосы и попудрила лицо, приблизился к ней.

— Мы dokonчим наш разговор в другой раз. Но помните, если вы любите меня, вы должны мне все сказать. Слышите?

— Хорошо, милый, — ответила она. — Но не торопите меня. Дайте подумать. Мне многое надо взвесить.

В знак согласия я молча поцеловал ее и мы вышли.

«Плезиозавр», сильно накренившись, но не сбавляя хода, описывал уже крутой поворот.

Я сменил Стивенса у аппаратов.

Я до утра проворочался без сна на своей постели, придумывая всевозможный решения мучившей меня задачи. Но ничего не придумал. В пять часов утра я был не ближе к истине, чем накануне вечером. Сильная головная боль была единственным результатом моих умственных экзерциций.

Я забылся, когда уже совсем рассвело.

ГЛАВА XI

Мое сближение с Джорджем идет вперед довольно быстрыми шагами. Я стараюсь проводить в его обществе как можно больше времени. Наружно — мы большие друзья. На самом же деле — мы просто два охотника и каждый из нас является дичью для другого. Вернее, не он сам, а его внутренний мир. Что касается меня, то моя задача вполне ясна и определена: мне необходимо выявить личность Джорджа в истинном свете. Мне нужно знать его *credo*.

Оно, и только оно, является целью моей охоты.

Другой вопрос, что нужно моему противнику. Что ему хочется кое-что извлечь из тайников моей души — это я вижу очень ясно. Но что именно? Если его личность является для меня *terra incognita*, то не думаю, чтобы я был таковой для него. Мое имя достаточно известно на обоих континентах Нового Света. Даже чересчур известно. Кто знал это имя, тот знал и *credo* его обладателя. Джон Гарвей всегда являлся олицетворением консерватизма и строгого правового порядка. Так было, так есть, так будет. Лучшее доказательство этого — мое теперешнее местопребывание.

Нет, конечно, не эта сторона моей личности интересует Джорджа.

Вот уже две недели, как мы оба осторожно блуждаем в незнакомом и запутанном лабиринте, которым является для каждого из нас внутренний мир другого.

Мы неслышно скользим по извилистым, темным переходам, останавливаемся, прислушиваемся, нащупываем.

Что касается меня, то я почти ничего еще не выяснил. Думаю, что не более успешно идут исследования и у Джорджа. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

.
.

Вчера мне пришло на мысль ввести в мои исследования новый вспомогательный элемент. Не понимаю, как я до сих пор не вспомнил об этом. В подобных случаях вино является неоценимым союзником. Никакие самые тонкие комбинации и хитросплетения не могут осветить потемки чужой души лучше, чем бутылка-другая виски или крепкого рома.

Несколько же своевременно добавленных бокалов вина могут увеличить яркость освещения еще больше.

Правда, это средство действительно не всегда. Но в девяносто процентах оно дает желаемый результат.

Милостивые государи, — вы говорите, что такое средство — палка о двух концах? Я знаю это. Но я надеюсь, что эта палка не ударит меня.

Я уже упоминал как-то, что Джордж, хотя и не мог быть назван пьяницей, но выпить никогда не отказывался. Вино действовало на него довольно быстро, но не прогрессивно. После известного момента Джордж уже не пьянел больше и мог пить до бесконечности, оставаясь в одном и том же состоянии.

Стивенс так охарактеризовал эту способность моего гостя:

— Он как губка: быстро намокает, но долго сохраняется в намоченном состоянии.

Придя к решению избрать новую тактику, я не замедлил провести ее в жизнь. В течение первых же дней я убедился, что я шел по верному пути. За вином Джордж становился несравненно более словоохотливым и откровенными. Его обычная сдержанность и замкнутость как будто растворялись в крепком алкоголе. Речь его становилась оживленнее, мысли высказывались более свободно и не так осторожно, как обыкновенно.

К великому неудовольствию Джефферсона, явно не симпатизировавшего моему новому другу, мы часто засиживались вдвоем или в компании Стивенса и Колльриджа до поздних часов.

Иногда Джордж уходил из моего «подвала» лишь на рассвете. Должен сказать, что в общем он был приятным собеседником. Время в его компании тянулось не скучно. Он много видел, много читал, много путешествовал. Теперь я подробно знал уже его печальную историю и то, как он из богатого человека обратился в нищего.

Это была обычная история. Национализация, узаконенный грабеж, расхищение всего, что имело мало-мальскую ценность, дикие бунты матросов и служащих паровой компании, побои, издевательства, аресты. Словом, история, о которой каждый из нас не только слышал множество раз, но которую в большинстве случаев и сам пережил. Грустная, тяжелая, но приевшаяся и докучная история.

О царящем на континенте государственном строе и об агентах и ставленниках его Джордж говорил с нескрываемой ненавистью. Правда, он никогда не смотрел при этом в глаза. Но, как вы знаете уже, эта похвальная привычка вообще не была свойственна моему гостю. Но это деталь. В общем же я нисколько не сомневался в искренности негодования Джорджа.

Такая интимная и доверительная откровенность моего нового друга, естественно, давала ему право и на некоторые расспросы с его стороны. Я ждал этих расспросов давно. И поэтому не был нисколько удивлен, когда однажды Джордж спросил:

— Простите мое любопытство, мистер Гарвей, но меня чрезвычайно интересует один вопрос.

— Именно? — совершенно равнодушно осведомился я, прихлебывая вино.

— Каким образом, несмотря на вашу широкую известность и на занимаемое вами положение, вам удалось благополучно выбраться с континента? Ведь революция произошла, как вы помните, настолько внезапно, что все правительство и все видные деятели попали в руки мятежников.

Милостивые государи, не знаю почему, но при этом вопросе у меня родилась твердая уверенность, что истинная физиономия Джорджа скоро не будет составлять для меня тайны.

— Да, я помню это, — ответил я. — Я помню также и то, что все арестованные лица были на третий день революции доставлены из всех пунктов страны в Вашингтон и там казнены.

— Вот именно. Как же удалось спастись вам? Ведь по существу вы, а не кто другой, первым должны были очутиться в руках красных.

— То есть, вы хотите сказать, — на электрическом стуле?

— В данном случае — это одно и то же, мистер Гарвей.

— Согласен. Но почему, по вашему мнению, именно я первым должен открыть шествие порядочных людей в небесную обитель?

Джордж улыбнулся.

— Неужели вы думаете, что ваша истинная роль на континенте не была известна красным?

— А вам лично она известна? — ответил я вопросом же.

— Конечно.

— Смею спросить, откуда?

— Если вы думали, что кроме вас, президента республики и некоторых членов синдиката и правительства никто не знал истинного положения дел — вы очень ошибались.

— Я давно подозревал это. Если о тайне знают трое людей — она уже сомнительна.

— Вот именно, — как-то криво усмехнулся Джордж. — Мы знали все.

— Кто мы? — спросил я, пристально глядя в лицо моего собеседника.

— Мы, то есть широкая публика, — совершенно спокойно ответил он.

Оговорился он или думал именно то, что сказал?

Кто знает?

— Итак, каким чудом вам удалось спастись? — продолжал Джордж. — И каким еще большим чудом удалось вам попасть на этот остров со всеми вашими подданными, как вы их называете?

Мне показалось, что при последних словах в его голосе промелькнула легкая ирония. Благодарю тебя, мой добрый друг, — вино! А впрочем, может быть, мне только показалось...

— Никакого чуда, никакого чуда, милый мистер Джордж. Я спасся исключительно благодаря некоторым качествам, которые развивал и поддерживал в себе в течение всей жизни. Простые качества, очень простые. Это, во-первых, наблюдательность и, во-вторых, предусмотрительность. Впрочем, виноват: немалую роль в моем спасении сыграла еще одна в высшей степени похвальная привычка.

— Именно?

— Именно, я всегда видел вещи таковыми, какими они были на самом деле. Если они были черными, то никто в мире не мог заставить меня думать, что они — белые. И, ес-

ли я играл с огнем, то я в любую секунду отдавал себе отчет в том, что это именно огонь, а не безобидное сияние фосфора. Никакие прекраснотушные рассуждения не могли убедить меня в противном. Вот и все, мой дорогой друг. Поверьте, что правительства всех стран потерпели крушение только потому, что не могли или не хотели руководствоваться в своей внутренней политике этим простым и несложным правилом.

Мой мозг никогда не работал более отчетливо и связь между моими мыслями и речью никогда не была более тесной, чем сейчас. Но я нарочно старался имитировать опьянение, говорил слегка заплетающимся языком и гораздо громче обыкновенного. Мой собеседник заметил это и губы его дрогнули в едва уловимой насмешливой улыбке.

— Гм... — сказал он, наполняя доверху мой стакан, — но чем же объяснить тогда, мистер Гарвей, крушение того правительства, во главе которого неофициально стояли вы?

Он взглянул на меня и в его взоре я прочел почти нескрываемую дерзкую иронию.

Я поднял свой стакан, чокнулся с Джорджем и, когда мы залпом выпили вино, ответил:

— Данный случай составляет исключение. Правительство ясно отдавало себе отчет в грозящей ему опасности и боролось, как могло. Но человеческим силам есть предел. Уже вступая в бой, мы знали, что нас ждет поражение.

— Можно узнать, почему?

— Во-первых, потому, что к тому времени весь Старый Свет был уже охвачен безумием. Бушующий океан его не мог не захлестнуть тот одинокий остров, которым являлся наш континент. Весь вопрос был только во времени.

— А во-вторых?

— Во-вторых, печальный исход обуславливался внутренним положением. Мы погибли оттого, что были слишком богаты. Покупать наши товары никому не было по средствам. Результатом этого явился крах промышленности, породивший в свою очередь миллионы безработных. Эти миллионы явились неоценимым материалом для красной пропаганды. Когда-то Россия погибла оттого, что ее ва-

люта стояла слишком низко. Мы погибли потому, что наша валюта стояла слишком высоко.

— Это верно. Но я возвращаюсь к вопросу, от которого мы давно и далеко отделились. Каким образом вам удалось спастись и оказаться на этом острове, действительно представляющем осколок старого мира?

— Я говорил уже, что я был достаточно наблюдателен и предусмотрителен, дорогой мистер Джордж. Я все время внимательно следил за успехом русской коммунистической пропаганды во всем мире.

Когда, вследствие анархий и обрушившихся на страну неслыханных бедствий, большевистское правительство принуждено было покинуть Россию и часть комиссаров, вместе с остатками красной армии, пробилась в пределы западно-европейских государств, — я увидел, что торжество коммунизма в Старом Свете не за горами.

Я не ошибся: начавшиеся повсеместно кровавые усобицы и вспыхнувшая вскоре вторая европейская война заставили сначала враждующие государства, а за ними и нейтральные страны стремглав покатиться в пропасть социальной революции. Затем события пошли своим логическим путем: пламя бушевавшего в Европе пожара перекинулось в Египет, потом в Индию, Китай и, наконец, в Японию.

Как вы помните, следующими этапами коммунизма были южно-африканские республики и бывшие британские колонии в Австралии. Как только красный флаг взвился над этими странами — мне стало ясно, что очередь за Америкой. Она была последним оплотом старого мира, единственной частью земной суши, не захлестнутой еще волнами красного потопа. Победа, одержанная коммунизмом на четырех материках, давала ему возможность бросить все освободившиеся и притом наиболее активные силы на наши континенты.

За это говорило все: и то, что Америка была последней цитаделью капитала и буржуазии, и то, что она была богаче всех прочих материков, и то, наконец, что до последнего времени все попытки разложить ее не имели особенного успеха.

События показали, что сделанные мною выводы были вполне правильны. Когда десятки тысяч агитаторов наводнили оба материка, когда они повели везде и всюду яростную пропаганду; когда беспрестанно, хотя и в разных местах, начали вспыхивать волнения и беспорядки — я понял, что рано или поздно мы будем побеждены неумолимым и настойчивым врагом. И я начал готовиться к отступлению.

— Что же вы сделали?

— Прежде всего, я наметил себе тыловую позицию. Я выбрал этот остров. Как он был мною открыт — я вам уже говорил...

Мельком взглянув на Джорджа и заметив, что лицо его выражает далеко не обыкновенное и весьма напряженное ожидание, я продолжал...

Милостивые государи, — я не буду злоупотреблять вашим вниманием. У меня нет ни малейшего желания затруднять вас и себя тем длинным повествованием, которым я усладил, в этот памятный мне вечер, слух моего гостя. Буду краток.

Я подробнейшим образом рассказал Джорджу все, начиная от момента, в который у меня зародилась мысль о колонизации острова и до бегства моего с континента. Я не скрывал ничего — моя игра требовала откровенности. Развязной откровенности подвыпившего человека.

Я с увлечением распространялся даже о мелочах. О том, например, сколько рейсов совершил между континентом и островом купленный мною гигантский транспорт прежде, чем он перевез все необходимое для превращения затерянного среди моря клочка земли в цветущий уголок культурного мира.

Джордж слушал молча. Он ни разу не перебил меня, ни разу не задал вопроса. Только по временам он с каким-то особенным выражением взглядывал на меня. И несколько раз я замечал при этом, что в глазах его горели странные огоньки.

Очень-очень странные. Смею вас уверить.

Когда я окончил повествование, Джордж помолчал с минуту. Потом налил себе и мне вина и, подымая бокал,

проговорил:

— От души пью за ваше чудесное спасение, мистер Гарвей. Радуюсь и тому, что вы живы, и тому, что вам удалось избежать участи большинства богатых людей — то есть стать нищим.

В его голосе при этих словах прозвучала такая искренность, что для меня не подлежала ни малейшему сомнению его радость. Единственное, что мне осталось не совсем понятным, это то, к чему относилась эта радость: к тому ли, что я жив, или к тому, что я не стал нищим.

Вставая с места, чтобы поблагодарить Джорджа, я умышленно раза два сильно качнулся. Когда он заметил это, его глаза блеснули удовольствием.

— Скажите, — сказал он, снова опускаясь на свое место — вы упомянули, как будто, что вам удалось ликвидировать только три четверти вашего состояния? Что же вам помешало закончить ликвидацию?

— Ничто не помешало. Я не ликвидировал некоторых заводов, фабрик и рудников потому, что надеюсь еще когда-нибудь владеть ими.

— Да? Конечно, это возможно. И в какую сумму оцениваете вы ваше имущество, оставшееся на континенте?

— Около двух миллиардов.

— А какая сумма, если не секрет, обращена вами в золото?

— Пять с лишним миллиардов.

Глаза Джорджа расширились.

— Однако... Я никогда не предполагал, что ваше состояние достигает таких размеров.

— Ну, сейчас у меня немного меньше. Этот остров все же стоил мне кое-чего.

— Примерно?

— Около миллиарда.

— Все же остается еще более чем огромная сумма, — как бы про себя сказал Джордж. И, подумав, прибавил:

— Скажите, неужели вы не боитесь держать на острове столько денег? Ведь все может случиться...

— Что, например?

— Ну, мало ли... Ведь у вас здесь все-таки две тысячи человек. Разве вы можете поручиться за всех?

— До последнего человека, мой друг. До последнего человека. Так же, как за самого себя. Это во-первых. Во-вторых, повторяю, золото было перевезено под видом ящиков с консервами и патронами.

— Все же....

— В-третьих — оно хранится в таком месте, о существовании которого известно только мне и двум моим ближайшим друзьям. Надежное место, мой друг. Смею вас уверить — очень надежное. Чужому человеку без плана никогда его не найти.

Говоря это, я кропотливо и медлительно обрезал новую сигару и, сквозь опущенные веки, исподтишка следил за Джорджем.

Мне с трудом удалось сохранить серьезность при виде выражения его лица. Это было замечательное выражение. Замечательное. Странная, никогда до сего времени не виданная мною, смесь чувств. Целая гамма их.

Тут было и торжество и разочарование. И озадаченность и глубокое раздумье. И тайная радость и досада.

Но весь этот калейдоскоп мыслей продолжался не более одной секунды. Когда я зажигал обрезанную мною, наконец, упрямую сигару — лицо Джорджа имело уже свое обычное выражение.

— Скажите, кстати, мистер Гарвей, — проговорил он самым беспечным и равнодушным тоном, — каким образом удалось вам вторично разыскать этот затерянный остров? Помнится, вы упоминали как-то, что он не обозначен ни на одной самой подробной карте.

— Совершенно верно. О существовании острова, кроме его обитателей, никто в мире не подозревает. Но тем не менее, я нашел его. И очень легко. Если понадобится, я найду его еще миллион раз. Где бы я ни был.

— ???...

— Вы слышали что-нибудь о секстанте и астробии?

— Конечно.

— Ну так вот — когда тайфун в первый раз пригнал к этому острову мою яхту, я был настолько предусмотрителен, что тогда же вычислил его местонахождение. Вычислил и занес остров на морскую карту.

— Кроме вас, известно еще кому-нибудь местоположение острова?

Он положительно начинал забавлять меня, этот милейший Джордж. Видимо, решив, что я совершенно пьян, он утратил всякую осторожность. Он с инквизиторским видом допрашивал меня, выпытывал вещи, явно составлявшие мою тайну. И воображал при этом, что я ровно ничего не замечаю.

Джон Гарвей! Не так давно, во время объяснения с мисс Мэри на «Плезеиозавре», я сказал вам, что вы — плохой актер. Глубоко извиняюсь: вы — отличный актер, мистер Гарвей. Отличный.

И самым беспечным тоном я ответил:

— Точное местоположение острова известно еще все тому же Стивенсу. Точно так же только ему и мне известен план минных полей. Кроме нас двоих, никто не сумеет безнаказанно провести через минные заграждения ни одно судно.

— Но представьте себе, что с вами обоими случится, храни Бог, какое либо несчастье. В таком случае ни одна из субмарин не сможет выйти в открытое море?

— Нет, отчего же? Все это предусмотрено. Колльридж знает, где находятся все планы и карты.

— А...

— В случае моей гибели моим наследником, в полном смысле этого слова, является Стивенс. В случае его смерти — ему наследует Колльридж. Потом... Ну, словом — все предусмотрено.

— Вы действительно предусмотрительный человек, мистер Гарвей.

Я поклонился. Не знаю, чего больше было в голосе Джорджа — имитированного восхищения или иронии. Он полагал, очевидно, что я дошел до состояния полнейшей невменяемости.

Что же, — тем лучше. Сведения, которые я сообщил моему гостю, совершенно бесполезны для него: главного он не узнал. Зато мне, если не ошибаюсь, удалось раскрыть его игру. Я ожидал еще какого-нибудь вопроса. Но Джордж ничего не спросил.

Не знаю, какие мотивы руководили им. Решил ли он отложить этот вопрос до следующего раза или, может быть, считал, что я недостаточно подготовлен вином для этой цели, но он ничего не спросил. Сначала перевел разговор на постороннюю тему, а вскоре за тем поднялся и стал прощаться.

Основательно пошатываясь на ходу, я проводил моего гостя до дверей.

Вернувшись, сел в кресло и хотел было проанализировать свои мысли, но вдруг почувствовал, что смертельно хочу спать.

Праведное Небо, четыре часа ночи! Какими глазами завтра утром посмотрит на меня Джефферсон...

Его лицо последние дни и так мрачнее самой мрачной тучи.

Спать, спать... Скорее спать.

ГЛАВА XII

Я снова очень долго не брался за перо. Не потому, что мне было некогда. Не потому также, чтобы я ленился. Ни то, ни другое. Я не вел своего дневника просто потому, что за все это время не случилось ровно ничего выдающегося.

Кроме того, у меня настолько хорошая память, что я в любой момент могу восстановить все события и записать их, если понадобится, в один прием. По моему мнению, точная датировка чисел и дней или, как это делают многие, даже часов при ведении дневника совершенно несущественна.

Важно, чтобы было записано то, что случилось. Не все ли равно, в конце концов, в какой день, какого месяца и числа произошло определенное событие.

Милостивые государи, — если дневник мистера Джона Гарвее попадет когда-нибудь в ваши руки, то эти строки объяснят вам, почему в заголовке каждой отдельной записи нигде не отмечены даты.

Сейчас у меня опять накопился материал за известный период времени и я решил его увековечить.

С чего начать? Да, — последнее время меня чрезвычайно занимает один вопрос. Вопрос из той области, которой я никогда не занимался, а именно — из области психологии и душевных переживаний женщины. Вернее, не женщины, а девушки. Впрочем, это все равно. Я так же мало знаю душу женщин, как и душу девушек.

Судьба — великий шутник. Она заставляет меня на грани шестого десятка становиться психологом женской души. Если бы запас моего удивления не истощился бы уже давным-давно — смею вас уверить, оно перед подобным фактом не знало бы границ. Но Джон Гарвей много лет уже ничему не удивляется. Ничему.

Я вижу, вы заинтересованы, к чему я веду все это? Мне чрезвычайно любопытно знать, всякая ли девушка перед тем, как согласиться принять предложение любящего ее и любимого ею человека, должна пройти длинный путь страданий, опасений, колебаний и слез?

Если всякая, то я не завидую девушкам, как никогда не завидовал вообще женщинам. Особенно, если каждая из них терзается в подобном случае так, как бедная мисс Мэри...

Нет, я заключаю свою благодарственную симфонию Небу за то, что оно создало меня мужчиной, самым громовым аккордом. Самым громовым и величественным, на который способна несовершенная музыка нашей несовершенной планеты.

В самом деле: что мешает мисс Мэри принять мое предложение и сделаться моей женой? Мы любим друг друга; мы оба свободны; оба здоровы и разница в годах между

нами, принимая во внимание, что она женщина, а я мужчина, не так уж велика. Джордж, насколько я заметил, относится к этому плану благосклонно. Правда, он никогда не говорил об этом ни прямо, ни намеком. Но, во-первых, таково мнение по этому поводу самой мисс Мэри, а во-вторых... Во-вторых, мог ли бы в противном случае Джордж, являющийся единственным опекуном своей сестры, не запретить ей постоянных одиноких прогулок со мною, катаний и явных с моей стороны ухаживаний?

Так что же? Что же, наконец, черт возьми?!

Со времени нашего знаменательного разговора в салоне «Плезюизавра» прошло более двух недель, а мисс Мэри так и не ответила на поставленный тогда мною вопрос.

Еще третьего дня я снова напомнил ей об этом. И снова лицо ее, как и всегда в таких случаях, омрачилось и она сказала:

— Милый мой, дорогой, если вы действительно любите меня, дайте мне подумать, дайте мне все обсудить. Теперь скоро. Я обещаю вам, что объясню все и дам решительный ответ.

И, горячо целуя меня, прибавила:

— Верьте только тому, что я люблю вас больше всего на свете. Больше жизни. Верите? Да?

Как я мог не верить ей? Достаточно взглянуть в ее глаза, достаточно было ощутить прикосновение ее губ или ласкающего движения ее маленькой ручки, чтобы поверить и отбросить все сомнения. Если бы они даже и были.

Я замолкал и отдавался упоению минутам счастья и близости этой, сводившей меня с ума женщины.

Я все еще честный человек. Но с каждым днем, с каждым часом мне все труднее удерживать занятую позицию. Я очень боюсь, что меня ждет, в конце концов, позорное поражение.

Что же это? Что? Кажется, в первый раз жизни я ничего не понимаю.

.
.

Между прочим, я очень рад, что отложил анализ нашей достопамятной беседы с Джорджем до другого дня. Вино часто бывает хорошим другом, но еще чаще плохим советчиком. Все последующее поведение моего гостя показало, что я сделал в тот вечер слишком поспешные и необдуманные выводы из некоторых его слов и фраз. Обсудив все хладнокровно и серьезно, я пришел к убеждению, что кое-какие вопросы Джорджа, показавшиеся сгоряча столь подозрительными, вовсе не заслуживают с моей стороны подобного отношения. В самом деле — чем, собственно, интересовался мой собеседник? Тем, чем поинтересовался бы каждый человек на его месте и в его положении. И что он узнал из своих вопросов? Ничего. Ровно ничего. Если он рассказал мне во всех подробностях историю последних лет своей жизни, то совершенно естественно, раз мы были в дружеских отношениях, было с его стороны поинтересоваться подробностями моего быта.

Вся эта история может сыграть поучительную роль только в одном отношении, а именно: она свидетельствует еще раз, к чему ведет подслушивание, хотя и невольное, праздных пересудов домашних слуг. Хотя бы даже таких испытанных и верных, как Джефферсон и Гопкинс. Единственный раз проникла мне в уши помимо моей воли сплетня — и вот что получилось.

Пусть это послужит для вас уроком, мистер Джон Гарвей. Хорошим уроком.

Сейчас Джорджа покинуло даже его действительно, может быть, иногда излишне любопытство. Он давно уже прекратил свои ежедневные прогулки в городок и постоянные разговоры там со всеми встречными. Еще раньше перестала интересовать его радио-станция, к которой он проявил такой исключительный интерес в первые дни пребывания на острове. Теперь он удивительно полюбил прогулки по самому берегу моря и по уединенным частям моих владений. Если последняя привычка моего гостя и не особенно мне нравится, то исключительно лишь потому, что иногда она нарушает гармонию наших прогулок с мисс Мэри.

С наступлением жаркого периода, Джордж пристрастился к купаниям. Он купается по несколько раз: на рассвете, днем, а иногда и поздно вечером. При этом он уплывает довольно далеко в море. Я предостерег его, что плавать среди минных заграждений очень опасно и что, сверх того, в этих водах водится довольно много акул.

Он сердечно поблагодарил меня. По его мнению, приносящая ему острота зрения и осторожность движений вполне гарантировали его от опасности при прохождении ближайших к острову мелко посаженных минных заграждений. Мины же второго и третьего пояса посажены слишком глубоко для того, чтобы плывущий по поверхности воды человек мог их опасаться.

— Что касается мин, — сказал я, — соглашаюсь с вами. Их вам, пожалуй, нечего бояться. Они представляют опасность только для шлюпок. Другое дело — акулы.

Он улыбнулся.

— О, эти милые создания тоже не пугают меня. В свое время я с ними достаточно познакомился у берегов Калифорнии. Кроме того, я никогда не плаваю без кинжала. Нет, акулы мне не страшны, мистер Гарвей.

Должен признаться, что тогда я счел слова Джорджа если не хвастливыми, то, во всяком случае, излишне самоуверенными. Но оказалось, что он был прав.

Однажды мы поднялись с Мэри на вершину перевала. Жгучие лучи солнца уже изрядно накалили воздух, но под сплошной многослойной крышей густых зарослей было еще сравнительно прохладно. Лежа на разостланном пледе, мы лениво перекидывались односложными фразами, наслаждаясь тишиной, чудным воздухом и близостью друг друга.

— А вон и брат идет купаться, — неожиданно сказала мисс Мэри.

Я поднес к своим близоруким глазам морской бинокль и, действительно, различил спускавшуюся по узенькой тропинке фигуру Джорджа, одетую во все белое.

Он сошел к самому берегу, быстро сбросил костюм и остался только в купальном трико. Несколько минут он по-

стоял на берегу, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону и с видимым удовольствием подставляя солнечным лучам свое тело. Какое у него было сложение!

Я доволен и даже с некоторого времени слегка горжусь своей фигурой. Но она ничто в сравнении с фигурой Джорджа. Высокая, гибкая и стройная, необыкновенно пропорционально и даже классически сложенная, она поражала сочетанием легкости с почти атлетической силой. Строгая гармония между шириной плеч и бедер, гордая посадка головы, сильная грудь, безукоризненные линии торса и конечностей — все это, в связи с великолепно развитой мускулатурой, обнаруживавшейся при каждом движении под тонкой, бронзовой от загара кожей, делало Джорджа образцом совершенной мужской красоты.

— Удивительно красив ваш брат, — сказал я, все еще не отрываясь от бинокля. — И главное, красота тела совмещается у него с красотой лица. А это очень редкое сочетание. Не правда ли?

Она слегка погладила мои волосы.

— Да, Джордж красив. Очень красив, но... но...

— Что но?

— Нет, — ответила она, меняя почему-то серьезный тон на беззаботный, — я просто хотела повторить вам то, что уже говорила. А именно, что красота для мужчины вещь третьестепенная.

— Вам все-таки должно быть приятно, что у вас такой красивый брат. Вы представляете, что было бы, если бы он в доброе старое время появился в таком виде на пляже одного из модных купальных курортов? Ведь все женщины сошли бы с ума.

Мисс Мэри засмеялась.

— Думаю, что вы правы. Но все-таки...

Она запнулась...

— Что- все-таки? — спросил я.

— Все таки, если бы я даже не была сестрой Джорджа, я не променяла бы его на вас. Ну — надеюсь, вы довольны?

Вместо ответа я горячо поцеловал ее руку.

Между тем Джордж нагнулся к лежавшему на песке платью и вынул из кучи его какой-то предмет. Этот предмет оказался узким ремненным поясом, к которому были прикреплены ножны короткого, но широкого ножа. Он надел пояс и бросился в воду.

Джордж был отличный пловец. Это я заметил еще в тот памятный день, когда он после катастрофы плыл со своей бесчувственной сестрой к нашему острову.

Я с удовольствием следил за его сильными и красивыми движениями в воде. Вдруг Мэри испуганно вскрикнула и схватила меня за руку.

— Что это? Что это там — посмотрите?

Сзади пловца скользила по воде какая-то огромная, быстро приближающаяся к нему, тень. Я снова взглянул в бинокль и весь похолодел: тень оказалась акулой. Джордж, по-видимому, не замечал ее. Он плыл на левом боку и был повернуть спиной к догонявшей его хищнице.

Как предупредить его? Что сделать? Закричать? Но он может не услышать. А если и услышит, то не поймет. Я с отчаянием взглянул на Мэри.

Ее лицо было совершенно бледно, но поразило меня каким-то неестественно спокойным выражением. Глаза были расширены и, не отрываясь, смотрели в направлении разыгрывавшейся перед нами драмы.

Милостивые государи, сейчас, когда я пишу эти строки, я глубоко убежден, что выражение, замеченное мною в тот момент в глазах Мэри, было просто плодом моего расстроенного воображения. Я был слишком взволнован — вот и все.

Но тогда... Нет, это просто смешно — тогда мне показалось, что в глазах Мэри не было и тени того ужаса, который я ожидал в них найти. Ее взгляд выражал скорее напряженное ожидание. И еще, если хотите, смесь надежды и...

Словом, вы лучше всего поймете меня, если я скажу, что такое выражение бывает в глазах спортсмена, наблюдающего за скачкой лошади, на которую он поставил круп-

ный куш. Да, именно так. Это — самое верное определение.

Все это пронеслось в моем мозгу в какую-нибудь тысячную долю секунды. Затем я спросил:

— Что делать, Мэри?

Она не отвечала.

Тогда я приложил к губам сложенные рупором руки и закричал во всю силу моих легких:

— Берегись! Акула...

Это был крик отчаяния. Не знаю, разобрал ли Джордж слова, но сам звук, по-видимому, достиг его слуха. По крайней мере, он повернулся. Он не мог сделать этого более своевременно: акула, готовясь схватить добычу, уже переворачивалась на спину.

В то же мгновение Джордж нырнул, а вслед за ним исчезло и чудовище.

Я представил себе, что происходит сейчас под поверхностью воды и замер. Несколько мгновений ожидания показались мне вечностью. Я даже закрыл глаза.

Открыть их заставил меня вздох, вырвавшийся из груди Мэри. Я бы сказал, что это был скорее вздох разочарования, чем облегчения и радости.

— Конечно, — с ужасом подумал я. Подумал и взглянул вниз на сверкающую, голубовато-синюю поверхность дремлющего моря.

На зеркальной глади океана, в том месте, где исчез за минуту перед тем Джордж, виделось опрокинутое на спину тело акулы.

Из распоротого во всю длину, обращенного вверх брюха непрерывным густым потоком лилась кровь. Распływаясь по поверхности воды все дальше и дальше, она окрашивала ее в мутный, дымчато-красный цвет.

Ярдах в двадцати от побежденного врага виднелась голова Джорджа. Он плыл к берегу и был, по-видимому, совершенно невредим.

.
.

Джордж продолжает купаться, как ни в чем не бывало. На все наши восторги и похвалы его храбрости он отвечает:

— Это самое обыкновенное дело, господа.

Он часто говорить о том, что обязан мне спасением своей жизни. По его мнению, если бы я не закричал, он непременно погиб бы.

Кроме купания, Джордж пристрастился к чтению. Он испросил разрешения пользоваться моей библиотекой и иногда даже читает у меня в кабинете.

Я его понимаю: в партере, действительно, такая жара, что никакое чтение там немыслимо. Я очень рад, что нашелся еще один человек, который оценил идею моего друга архитектора Гюи Смита.

.
.

Вчера мы на целый день уходили «за покупками». Вышли в семь утра и вернулись только к десяти вечера. Ездили целой компанией: мисс Мэри, оба Стивенса, Гюи Смит, несколько моих министров, я и даже Колльридж. Да, Колльридж. Он порядочно удивил нас всех, заявив, что он сопровождает нас в нашем путешествии. Он ужасный домосед, этот Колльридж. Наша экскурсия очень развлекла нас всех и мы решили от времени до времени повторять ее. Все мы очень жалели, что нас не сопровождал Джордж. У него было нечто вроде легкого недомогания и он предпочел остаться на берегу.

Спешу извиниться, милостивые государи. Я не объяснил вам еще, что значит ездить «за покупками». Еще раз простите — я стал необычайно рассеян. Говорят, это бывает со всеми влюбленными. Если это правда, то вы, конечно, извините меня.

Дело в том, что хотя на нашем острове находится колоссальный склад всевозможных запасов, начиная с предметов первой необходимости и кончая предметами роско-

ши, но, конечно, мы не можем считать себя обеспеченными на вечные времена. Максимум через семь лет многим наиболее употребляемым вещам придет конец. Хорошо, если к тому времени на континентах восстановятся нормальные условия жизни. Тогда, во первых, многие из нас покинуть остров, а во вторых, запасы, в случае необходимости, могут быть легко пополнены посылкой за ними на континент грузовой субмарины. Но ведь Бедлам может царствовать в мире не только семь, а и десять лет. С голода, конечно, мы и тогда не погибнем. Но многого необходимого у нас не будет.

И вот Стивенсу пришла блестящая мысль: выйти на линию пароходных рейсов, остановить какой-нибудь торговый пароход и попробовать купить у него что-либо. Все равно что. Лишь бы произвести опыт. Стивенс уверял нас при этом, что если мы заплатим золотом, то нам продадут все что угодно и в каком угодно количестве. Даже в том случае, если груз отправляется заказавшему его адресату, будь этим адресатом хоть одно из красных правительств.

Мне кажется, что Стивенс прав. Сейчас во всем мире позабыли не только о торговле на золото, но и вообще о том, как выглядит золотая монета. Мировая война, а потом воцарение Бедлама давно заменили золото астрономическими суммами бумажных миллиардов. И, конечно, какой капитан или какая судовая команда устоят перед блеском золотого кумира человечества?

Около часа дня мы достигли линии пароходных рейсов Сан-Франциско — Сидней, а около трех часов остановили сигналом огромный океанский пароход, шедший под флагом австралийской автономной республики. После поданных нами сигналов переполох, поднявшийся на палубе судна, понемногу улегся.

Мы подошли почти вплотную и Стивенс начал переговариваться в рупор с капитаном. Это был замечательный разговор.

— Что вы везете? — рычал снизу Стивенс.

— А вам какое дело? — послышался ответный рев.

— Такое, что мы хотим купить кое-что из ваших товаров, если они окажутся подходящими.

— Мы не продаем всяким встречным.

— Мы не всякие встречные, потому что расплачиваемся чистым золотом.

Среди столпившейся вдоль борта судна команды пробежал ропот изумления.

— Алло? — загрохотал сверху рупор. — Что вы сказали?

— Мы платим за товары чистым золотом.

Последовало минутное молчание. Видно было, как стоявшие на мостике люди совещались. Ответ немного удивил нас.

— Убирайтесь к черту! Во всем мире уже два года, как нет ни одной золотой монеты. Прекратите ваши глупые шутки и проваливайтесь. Не то я пощупаю вас из шестидюймовок. Слышите?

Стивенс вместо ответа снял свою фуражку и протянул ее мне. Я развязал бывший у меня в руках мешок и поток золотых монет посыпался, звеня и сверкая на солнце, в фуражку.

— Видите? — спросил Стивенс.

В ответ понеслись крики удивления. Когда капитану удалось водворить тишину, он сказал:

— А что вы хотите купить?

Его голос звучал теперь очень любезно. Очень. Смею вас уверить.

— А что у вас есть?

Капитан начал перечислять. Увы, его товар состоял, главным образом, из различных суррогатов, которыми несчастные обитатели континентов портили себе желудки за неимением лучшего.

— Этого нам не надо. Все это у нас есть, но только в натуральном виде.

Капитан обозлился.

— Да что вы, черт вас возьми, марсиане, что ли? И золота у них, и настоящие продукты...

Я сказал, что, строго говоря, мы действительно являемся обитателями другой планеты.

Вероятно, это подействовало на несговорчивого капитана. Он подумал и прокричал:

— Если вы, действительно, покупаете на золото, то у меня найдется для вас кое-что и получше.

И, помедлив для эффекта, он продолжал:

— У меня есть большая партия свежих ананасов и настоящего шампанского.

— Свежих ананасов и шампанского? Это подходящая вещь.

— Да, но дешево я их не уступлю. Я везу их по заказу очень высокопоставленных лиц.

— Идет. Мы платим золотом по дореволюционным ценам.

— Согласен, — ответил капитан.

— Тогда спускайте шлюпку и подымайте нас на борт. И имейте в виду: никаких предательств. Минные аппараты у нас наготове.

— Можете быть спокойны.

Через десять минут Стивенс и я в сопровождении двенадцати вооруженных людей стояли на палубе парохода. Пока мы расплачивались, партия ананасов и вина была погружена в шлюпки и они двинулись к «Плезиозавру».

Милостивые государи, я был растроган. Очень растроган. Я положительно не знаю, чем объяснить такое искреннее и сердечное расположение к нам экипажа судна. Эти добрые люди наперерыв предлагали купить у них то то, то другое. Они готовы были продать не только все товары, но и сам пароход. Даже самих себя, пожалуй. Повторяю — я был очень тронут. Но принимать слишком высокие жертвы — не в моей натуре.

Когда я, окруженный конвоем, протискивался назад к трапу, я заметил, что во всех глазах, смотревших на меня отовсюду, читалась истинная скорбь. Добрые, симпатичные люди!

Я уверен, что не будь у меня конвоя, а главное «Плезиозавра» с его минными аппаратами — экипаж этого судна с восторгом оставил бы меня погостить у себя подольше.

Но я никому не люблю быть в тягость. Знаю по опыту, что гости иногда надоедают.

С грустью в сердце я предпочел возвратиться на «Плезиозавр».

Милостивые государи, я сделал дорогую и ненужную покупку: шампанским всех марок у меня завалены погреба, а плантации ананасов на острове дают более чем обильный урожай. И все же я не оставил на пароходе ни одной бутылки, ни одного ананаса. Вы спросите — почему?

Потому что, когда миллионы людей умирают с голода или предаются канибальству, то «высокопоставленные» лица могут посидеть без вина и экзотических фруктов.

Могут.

ГЛАВА XIII

Когда я припоминаю события последнего времени и делаю попытку разобраться в их головокружительном вихре, — мне и теперь еще кажется, что на самом деле все случившееся является плодом моей расстроенной фантазии. Или просто одним из тех необъяснимых бредовых пароксизмов, которые иногда, без всякой видимой причины, поражают мозг вообще здорового и нормального человека. О подобных пароксизмах я вычитал однажды в капитальном труде какого-то весьма известного невропатолога. Характерным признаком такого скоропреходящего заболевания является то, что человек, оставаясь видимо совершенно здоровым, абсолютно теряет способность различать реальные события от событий, порожденных его воображением.

Временами я готов был уверовать в то, что и со мной случилось нечто подобное. Если бы непосредственно после всего происшедшего мне каким-нибудь чудом удалось оказаться в полном одиночестве, я, без сомнения, утвердился бы в этом мнении окончательно. Но я не один. Меня ок-

ружают люди, бывшие не только свидетелями, но и участниками разыгравшихся событий. Каждый из них служит живым и непосредственным напоминанием всего пережитого. Разговоры с этими людьми, а также взволнованные пересуды, до сих пор еще не затихшие в городке, свидетельствуют, что случившееся не бред, а факт. Непреложный и реальный факт.

Но лучше всего подтверждает происшедшее обыкновенная, средней толщины тетрадка в простом клеенчатом переплете.

Эта тетрадка лежит сейчас передо мной. Ее страницы исписаны крупным и четким, бесконечно дорогим мне почерком. Я пробегаю эти отрывистые, порой торопливо и беспорядочно набросанные записи на испанском языке, — и снова и снова переживаю события последних дней.

Как я был глуп! Глуп и преступно слеп. Я положительно не понимаю, как все то, что является для меня теперь столь ясным и понятным, или совсем не обращало на себя моего внимания, или казалось плодом излишней, ни на чем не основанной подозрительности.

Джон Гарвей, — пусть все случившееся поможет вам излечиться от вашей излишней доверчивости к людям. Доверчивости, которая столь странным образом сочетается с присущей вам, как вы уверяете, прозорливостью. Любовь плохой советчик, дорогой сэр. Очень плохой советчик, смею вас уверить. Мне кажется, сейчас вы ясно понимаете это. Если это действительно так — я очень рад.

И еще прошу вас на будущее время: ради Бога — меньше самомнения и несокрушимой уверенности в своей непогрешимости. Вы — отличный коммерсант; вы человек выдающегося государственного ума и прекрасный политик. Но в жизни, дорогой мой, в повседневной обыденной жизни, вы часто оказываетесь беспомощным ребенком.

Помнится, когда Джордж сказал вам однажды, что ваша голова оценена революционным правительством в миллион бумажных долларов, вы презрительно улыбнулись и совершенно искренне уронили: «Это дешево, слишком дешево». Если вы имели в виду голову коммерсанта, госу-

дарственного человека и политического деятеля, — цена за нее, действительно, могла быть выше. Но голова Джона Гарвея, как рядового обывателя... Нет, любезный сэр, за нее я не дал бы и десятой части назначенной суммы. И притом по курсу нынешнего дня. Ни центом выше.

Как вы думаете, милостивые государи, кто во всей этой истории оказался самым умным, прозорливым и здравомыслящим человеком? Держу пари — вам никогда не угадать. Знаете, обладателю какой головы я завидую? Обладателю головы Джефферсона. Джефферсона, моего камердинера. Он, и только он, оказался пророком и давно предвидел здоровым инстинктом простого человека все, что случилось.

Вы не завидуете мне? Вы правы: когда человек, управлявший некогда полумиром, приходит к убеждению, что его голова ничего не стоит в сравнении с головой его камердинера — здесь вряд ли есть место для зависти.

Как ни тяжело, но все же надо записать все случившееся. Итак — я начинаю.

.
.

Это случилось ровно через двадцать четыре часа после возвращения с нашей веселой экскурсии «за покупками».

Утром в этот день я встал в самом превосходном настроении духа. Я позавтракал, выслушал обычный доклад и сделал кое-какие необходимые распоряжения. Оставшись один, я взглянул на часы: было только девять часов. До момента, когда я мог зайти за мисс Мэри для того, чтобы отправиться с ней на обычную утреннюю прогулку, оставалось еще более получаса времени.

Я прочел накопившиеся за истекшие сутки радио-граммы и еще раз порадовался безошибочности высказанных мною не так давно предположений. В течение последнего месяца Европа почти целиком освободилась от сатанинского рабства и постепенно начинала оправляться от многолетней, казавшейся уже неизлечимой, болезни.

Воскресшая повсеместно фанатическая религиозность делала для красных правительств совершенно немислимой борьбу со стихийными, правильно-организованными восстаниями народов. Народы, уже освободившиеся, оказывали вооруженную поддержку народам еще боровшимся и только начинавшим восставать. Образовывались коалиции, заключались союзы.

Если религия, по мнению красных пророков, была для народа опиумом, то для них самих она оказалась смертельным ядом.

Течение моих мыслей прервало появление Джефферсона. Мисс Мэри просила меня, чтобы я шел гулять, не дожидаясь ее. Она чувствует себя совсем больной и весь день не будет выходить.

— Миледи сама говорила с вами? — спросил я Джефферсона.

— Нет, сэр. Мне передал это мистер Джордж, когда я прислуживал ему за завтраком.

— А мисс Мэри завтракала у себя в комнате?

— Точно так, сэр. — И, подумав, прибавил:

— Я осмелился, сэр, почтительнейше осведомиться у брата миледи, не надо ли позвать доктора.

— И что же?

— Доктора просили не беспокоить, сэр. Мистер Джордж сказал, что кроме насморка и легкого недомогания, миледи ничем не страдает.

— Так что, мисс Мэри целый день не будет выходить?

— Точно так, сэр.

— Хорошо. Джефферсон. Можете идти.

Я скорее огорчился, чем обеспокоился. Опасного, конечно, ничего нет. Просто легкая простуда. Я вспомнил, что вчера мы около часа простояли на палубе «Плезиозавра», шедшего полным ходом навстречу дувшему с юга свежему ветру. Этого совершенно достаточно, чтобы получить насморк. Я мысленно выбрал себя за такую неосмотрительность. Ну что же — я сам себя наказал: сегодня я целый день не увижу Мэри. Это — потерянный для меня день.

Я с досадой надел шляпу и отправился на свою одинокую прогулку. Было скучно и тоскливо. Кажется, мой докучный гость, Демон Уныния, снова намеревается завладеть мною. Он давно не навещал меня. С тех пор, как на острове появились мисс Мэри и ее брат.

Я вспомнил, что последний раз его появление послужило предвестником большой неприятности. Надеюсь, что это было простое совпадение.

Совершенно не понимаю, как мог я раньше бродить в одиночестве по целым часам. Это невыносимо скучно. Даже просто глупо.

Я зашел к садовнику, лично выбрал самые красивые розы и, составив из них огромный букет, приказал немедленно отослать его мисс Мэри. После этого у меня уже окончательно пропала всякая охота гулять. Я быстро вернулся домой и сел за книгу. Но читалось плохо.

Подумав, я решил, что не навесить мисс Мэри было бы неприлично. В конце концов, она не так больна. Долго сидеть не следует, но десятиминутный визит не утомит ее. Без сомнения, я даже обязан оказать больной такое внимание.

После lunch 'а я послал Джефферсона узнать, можно ли будет мне прийти около трех часов дня. Через несколько минут я получил ответ: мисс Мэри будет очень рада видеть меня, но предупреждает, что чувствует себя довольно плохо. Говорил с Джефферсоном опять Джордж. Несмотря на то, что такой ответ был, в сущности, замаскированным отказом, я все же решил идти. Не видеть Мэри целый день я был положительно не в силах.

Ровно в три часа я постучал в дверь ее комнаты.

Мне открыл любезный и сияющий Джордж.

— А, вот вы, наконец. Необычайно рад, что вы пришли. Мэри сегодня капризна, как никогда и я никак не могу расшеять ее дурного настроения. Может быть, вы окажетесь счастливее меня. Прошу вас...

И он указал на стоявшее рядом с chaise longue* кресло.

* Шезлонг (фр.). (Прим. изд.).

Я поцеловал руку мисс Мэри, сел и всмотрелся в ее лицо.

Оно выглядело скорее расстроенным, чем больным. Очень бледное, все насквозь проникнутое какой-то безысходной печалью, оно как-то странно осунулось и похудело за одну эту ночь. Широкие темно-синие круги залегли под прекрасными, утратившими свой обычный блеск глазами. Несмотря на густой слой пудры, я заметил, что эти глаза хранили следы продолжительных слез.

У меня защемило сердце. Не знаю почему, я вспомнил слова Джефферсона, некогда подслушанные мною в беседе.

— Что с вами? — спросил я по возможности самым беззаботным и веселым тоном

Она улыбнулась. Невеселая это была улыбка.

— Ах, я совсем, совсем расклеилась, мистер Гарвей, — как-то чересчур оживленно и весело заговорила она. — Вероятно, простудилась вчера на «Плезизоавре». Болезнь — это, конечно, пустяки. Завтра, послезавтра буду здорова. Главное то, что у меня отвратительное свойство: при малейшем недомогании мой характер мгновенно меняется. Все меня раздражает, меня гнетут какие-то глупые, ни на чем не основанные предчувствия и мрачные мысли. Я злюсь на весь мир, плачу, сама не зная отчего, и вообще становлюсь самым несносным в мире существом. Правда, Джордж?

— Правда. Но утешайся тем, что ты не являешься исключением: таковы все женщины, мой друг.

— Все-таки я хотел бы прислать вам доктора, мисс Мэри, — заметил я. — Вы позволите?

— Ах, нет, нет! — совершенно искренне вырвалось у нее. — Я терпеть не могу докторов, не как людей, а как профессионалов, — добавила она, улыбаясь, и продолжала: — Уверяю вас, это пустячная болезнь. Я уже приняла противохородачное средство и завтра буду совсем здорова. Вот увидите.

Я не стал настаивать. Конечно, болезнь не из опасных. Мы заговорили на другие темы. Мисс Мэри старалась казаться веселой, но в глазах ее я все время читал какую-то

мучительную тревогу и беспокойство. Какие дети, в сущности, эти женщины! — подумал я. Легкое недомогание совершенно выбивает их из обычного равновесия.

Посидев около получаса, я стал прощаться. Когда я наклонялся к руке Мэри, мне показалось, что глаза ее остановились на мне с каким-то странным, мучительным выражением.

Но когда я выпрямился — это выражение уже исчезло. Я подумал о головной боли и заторопился. Нехорошо так утомлять больную.

Джордж, все время ни на секунду не выходивший из комнаты, проводил меня до последней ступеньки лестницы.

.
.

Чтобы как-нибудь убить время, я позвонил Стивенсу, Колльриджу и Гюи Смиту по телефону и просил их отобедать со мной.

— А после составим партию в бридж. Согласны? — прибавил я.

— Идет, — последовал ответ Стивенса. — Кстати, как здоровье мисс Мэри? Моя жена собирается после обеда навесить ее. Удобно это?

— Если ненадолго, то думаю, что — да. Больную не мешает развлечь разговором. У нее настоящий сплин.

Пообедав, мы сели за бридж и успели уже сыграть один или два роббера, как вдруг вошла миссис Стивенс. Она приблизилась к столу и сказала:

— Мистер Гарвей, можно вас попросить на пять минут в ваш кабинет? Простите, что прерываю вашу игру, господа, — прибавила она, обращаясь к моим партнерам.

Я тоже извинился, встал и, пропустив вперед миссис Стивенс, пошел в кабинет.

— Мисс Мэри просила передать вам вот это...

Она вынула из-за корсажа большой, сложенный вдвое конверт.

— Что это такое? — изумился я.

— Право, не знаю. Она просила вас прочесть. По-видимому это секрет от мистера Джорджа.

Я ничего не понимал. Я даже смутился. Что за интимность?

— Почему вы думаете, что это секрет? — спросил я, немного придя в себя.

— Потому, что... Ну, вот послушайте. Когда я постучала в дверь мисс Мэри, мне ответил ее голос. Я вошла в комнату и хотела уже спросить, как ее здоровье, как вдруг она выхватила из-под матраца вот этот самый пакет и шепотом быстро-быстро проговорила:

— Ради Бога, спрячьте это за корсаж. Скорее, чтобы не видел брат. Умоляю вас. И передайте мистеру Гарвею. Просите его прочесть и...

Мисс Мэри не успела закончить фразы. Дверь отворилась и в комнату вошел мистер Джордж. Увидев меня, он чрезвычайно изумился.

— Ах, это вы, миссис Стивенс? — Вот не ожидал. Мне как раз пришлось оставить на полчаса сестру и я очень беспокоился, не надо ли ей чего? Вы давно здесь?

Он был, как всегда, любезен, но мне показалось, что в голосе его сквозит недовольство.

— Я едва успела закрыть за собою дверь, — ответила я.

Он сделался еще любезнее, зажег свет и принялся весело болтать. Мисс Мэри участвовала в разговоре мало. Она казалась утомленной и, видимо, чувствовала себя неважно. Пристально взглядевшись в ее лицо, я поняла причину неудовольствия мистера Джорджа: он боялся, очевидно, что мой визит утомит его больную сестру. Я поспешила проститься и пришла сюда.

— Очень вам благодарен, дорогой друг, — сказал я. — Я догадываюсь, что в этом пакете.

— Догадываетесь?

— Да. Я просил как то мисс Мэри описать мне по возможности подробнее ход событий в первое полугодие после переворота. Для записок, которые я составляю, у меня не хватает очень многих сведений.

Я прощупал пакет и вскрыл его.

— Конечно, я не ошибся, миссис Стивенс. Здесь тетрадь — видите?

— Но почему же это передано так секретно? — слегка недоверчиво спросила моя собеседница.

— Мистер Джордж питает такое отвращение к политике, что строго запрещает своей сестре говорить о ней, не только что писать. А его авторитет у мисс Мэри очень велик — вы не могли этого не заметить.

— Конечно, заметила, — живо воскликнула миссис Стивенс. — Мистер Джордж — очень строгий брат. Ну, теперь мне все понятно. Не буду больше мешать вам. До свидания.

И она вышла.

Увы, если все было понятным миссис Стивенс, то должен признаться откровенно, что я ровно ничего не понимал. Расправив сложенную вдвое тетрадь и развернув ее, я увидел, что она содержала ряд отдельных датированных записей. По-видимому, это был дневник. И, судя по почерку, он мог быть дневником только мисс Мэри.

Зачем она прислала его? Зачем просила прочесть? И почему это такая тайна от Джорджа?

Ничего не понимаю. Решительно ничего.

Я сунул тетрадку в маленький висячий шкафчик, запер его, положил ключ в карман и вернулся к ожидавшим меня друзьям.

— Когда все разойдутся, примусь за чтение, — подумал я, разбирая карты.

ГЛАВА XIV

У меня есть одна привычка, которою я втайне всегда очень гордился. Это привычка — никогда не заниматься двумя или несколькими делами сразу. И думать только о том деле, которое является очередным для данного момен-

та. Сейчас таким делом была игра в бридж. И я думал только о картах и о правильности ходов.

Не потому, чтобы содержание дневника любимой мною женщины не интересовало меня. Далеко нет. Но я никогда не меняю без достаточно серьезных оснований своих решений и составленного заранее плана распределения времени. Дневник — не спешное письмо. Будет ли он прочитан несколькими часами раньше или позже — ничто от этого не изменится.

Дневник очень интриговал меня. Но не мог же я, выйдя с тетрадкой в руках из кабинета, объявить моим партнерам: — Друзья мои, идите спать. У меня оказалось кое-что поинтереснее. чем ваше общество и игра в бридж.

Возможно, что на континенте в среде нового «лучшего общества» принято теперь такое обращение с заранее приглашенными гостями. Но я человек старых понятий. Да, старых. Поэтому, простившись с миссис Стивенс, я вернулся к карточному столу и, извинившись еще раз, сел на свое место.

Около трех часов ночи, сыграв последний роббер, мы встали из-за стола, вышли на воздух и еще несколько минут постояли у дверей, куря сигары и лениво перебрасываясь незначущими фразами.

Проследив глазами удаляющиеся фигуры моих гостей, я спустился вниз и прошел прямо в кабинет. В голове у меня слегка шумело и немного клонило ко сну.

На одно мгновение у меня явилось желание отложить чтение дневника до завтра. Но я сейчас же прогнал эту мысль.

Я твердо уверен, что решение прочитать записки мисс Мэри немедленно было мне внушено моим ангелом-хранителем.

Даже сейчас я положительно замираю от ужаса при мысли, что было бы, если бы я отложил чтение до утра. Благодарение Небу — я не сделал этого. Я начал читать поздно, очень поздно, но не слишком.

С того именно момента, когда я раскрыл тетрадь, мне и стало казаться, что мой мозг охвачен бредовым пароксиз-

мом. Впрочем, нижеследующие строки моих записок являются точной копией дневника мисс Мэри. Я пропустил лишь несколько первых страниц его, содержащих заметки о катастрофе с пароходом. Сами по себе эти заметки не лишены интереса, но, строго говоря, прямого отношения к дальнейшим событиям не имеют.

Первая заинтересовавшая меня запись относится к 24-му июля.

24 июля 19.. — года.
Остров «Старого Мира».

Уже три дня, как я и Жорж на острове «Старого Мира». Я не совсем еще оправилась от ужасного потрясения, явившегося результатом нашей морской катастрофы. Однако силы мои быстро восстанавливаются и думаю, что завтра или послезавтра я буду совсем здорова. Иначе не может и быть: после всех кошмаров и ужасов, перенесенных мною в течение последних двух лет, после невероятной атмосферы кровавого безумия, насилий, убийств и всеобщего помешательства, я совершенно неожиданно и поистине чудесным образом очутилась в старой, привычной, дорогой моему сердцу обстановке. Даже не верится.

Не верится, что в том всеобщем сумасшедшем доме, в который обратился уже несколько лет назад весь мир, остается еще уголок земли, не пораженный микробом страшной болезни. Что в этом уголке живут люди, не пылающие друг к другу ненавистью, не занимающиеся братоубийством, предательством, шпионажем и гнусными доносами; что здесь нет ни угнетаемых, ни угнетателей, ни палачей, ни жертв; что каждый из обитателей этого острова — человек, а не дикое животное, думающее или о том, чтобы набить свой желудок, или о том, чтобы выискать предлог для отправления на тот свет как можно большего количества ни в чем неповинных людей,

Мне странно здесь все. И то, что люди здесь могут свободно дышать, свободно думать и говорить; и то, что они

не едят друг друга и не умирают от чудовищных болезней; и то, наконец, что они сыты, здоровы и веселы.

Остров «Старого Мира»... Какое более удачное название можно было придумать для этого, никому, по-видимому, неизвестного, затерянного среди океана клочка земли?

И кто его обитатели? Кто этот мистер Гарвей? Откуда он? Кем он был прежде? Иногда мне кажется, что все это сказка, чудесная сказка. Или сон. Вот проснусь — и нет больше ничего. Нет ни чудного, уютного коттеджа, ни маленького городка, ни субмарин. Нет ничего. Снова кругом миллионы умалишенных людей, умирающих с голода и истребляющих друг друга в сатанинской оргии злобы.

О, только бы не проснуться!

27 июля.

Наш хозяин удивительно милый человек. И очень интересный. Я люблю таких мужчин — сильных, здоровых, элегантных, джентльменов от головы до кончиков ногтей. Какая импонирующая внешность, какое барство в каждом движении, в каждом жесте. Он мне нравится, наш хозяин, очень нравится. Несмотря на то, что он далеко не молод и лицом он не особенно красив, но я никогда не ценила в мужчинах красоты. Единственное исключение... Впрочем, это к делу не относится.

Мистер Гарвей, насколько я могла вывести заключение из наших немногочисленных еще бесед, обладает очень большим умом, широким кругозором и высоким интеллектуальным развитием. Он очень начитан, прекрасно образован, наблюдателен, остроумен и умеет хорошо говорить. Между прочим, — он прекрасный лингвист: знает пять или шесть европейских языков. Он очень тактичен. Вполне удовлетворился беглым просмотром документов, которые, как и деньги, отлично сохранились в каучуковом поясе Джоржа и на этом успокоился. Я пыталась, насколько это возможно, объяснить ему, кто мы. И что мы, но он очень деликатно дал мне понять, что такие подробности его совершенно не интересуют.

— Мисс Мэри, сказал он, — я видел ваши документы и документы вашего брата. Еще будучи на континенте, я знал имя вашего отца, равно как и то, что с ним связано понятие об одном из крупнейших пароходных предприятий в Южной Америке. Поверьте, этих сведений с меня достаточно. А главное, вы и ваш брат — мои гости и люди, пострадавшие от более чем двухлетнего пребывания в том аду, который царит теперь во всем мире. Этим все сказано.

Но если мистер Гарвей ничего не расспрашивает о нас, то я не могу сказать, чтобы он или окружающие его много рассказывали нам и о себе. Кроме того, что остров был колонизирован сравнительно недавно и что колонисты прибыли из Америки — ни я, ни Жорж ничего не знаем.

Нам совершенно ничего не известно ни о том, чем занимался мистер Гарвей в прежние годы своей жизни, ни о том, благодаря какому капризу судьбы попал он на этот остров и сделался полновластным повелителем этого своеобразного государства.

Лично мне имя Джона Гарвея ничего решительно не говорит. Самое обыкновенное имя, самая обыкновенная фамилия. И в Новом Свете и в Англии таких имен тысячи. А может быть, и сотни тысяч.

Жорж, однако, говорит, что это не совсем обыкновенная личность. Он уверяет даже, что в свое время некий Джон Гарвей занимал очень высокое и могущественное положение. По словам Жоржа, этот человек больше, чем кто-либо другой, способствовал угнетению низших классов народа, являясь воплощением отрицательных сторон буржуазного строя и власти капитала; Жорж утверждает, что если бы ему не удалось самым непонятным образом скрыться накануне революции, то его первого ждало бы электрическое кресло. Я уже не помню, что он говорил еще. Одним словом, если ему верить, то Джон Гарвей, которого он знал понаслышке, являлся каким-то чудовищем в образе человека.

Утешаюсь только тем, что знаю миросозерцание Жоржа. Любезными его сердцу могут быть только приверженцы нового строя. Остальные представители человечества, по

его мнению — не люди. Это — враги народа. В отношении их позволено все, даже самые гнусные, отвратительные и жестокие поступки.

Боже, могла ли судьба более зло подшутить надо мной?

Ненавидеть так, как я ненавижу Жоржа.

Жоржа — близкого мне человека...

2 августа.

Мне все больше и больше нравится наш хозяин. Мне кажется, что он — человек, о встрече с которым я мечтала всю свою жизнь. Это тот сказочный принц, которого ждет в дни своей юности и молодости почти каждая девушка. Ждут его все, но попадается он на пути только немногим, очень немногим счастливицам.

Неужели — я из их числа? Неужели именно теперь, когда жизнь так безжалостно растоптала мои самые лучшие и светлые мечты, когда все, что во мне было чистого и святого, загажено и осквернено, суждено мне встретить моего принца?

Я знаю мистера Гарвее всего десять — двенадцать дней, но мне кажется, что я знала его давно-давно. Нет, не давно, а всегда. С первой встречи, с первых незначащих фраз он стал мне каким-то родным и близким. Отчего? Не от того ли, что с тех пор, как во мне проснулась женщина, я представляла себе избранника моего сердца именно таким, как мистер Гарвей?

Всякий человек, будь то мужчина или женщина, в дни, когда пробуждается инстинкт любви, высекает у себя в сердце образ спутника своей жизни. Этот образ — его идеал, его мера, заранее приготовленная форма. В юности и молодости мы очень строги: все, что не совпадает с нашей меркой, все, что не укладывается в отлитую нами форму идеала — решительно и с пренебрежением отбрасывается. Мы ищем все новых и новых объектов. Вот этот, вот этот — говорим мы себе. Мерим, втискиваем в форму. И горько разочаровываемся, видя полное несоответствие.

В зрелые годы мы становимся более снисходительными. Мы не требуем уже точного совпадения измерительных делений или слияния всех линий контуров. И очень часто, кое-что укоротив, кое-что удлинив, подвернув, обрезав и сжав, мы втискиваем объект в нашу форму.

Это ничего, — утешаем мы себя, — что створки не закрываются; это ничего... Что за беда в том, что форма для данного объекта слишком велика или слишком мала. Это — детали. Важно приблизительное совпадение всех линий.

Так делают и рассуждают почти все мужчины и женщины. Особенно женщины. Обыкновенно результатом такой снисходительности в двух третях всех случаев является несчастная семейная жизнь. Но одна треть составляет исключение: жизнь налаживается и протекает удачно и даже счастливо.

Меньшинство я подразделяю так: одни, — не желают ни на йоту отступить от своей мерки, носятся с нею всю жизнь и так и не находят подходящего объекта. Такие люди умирают старыми холостяками или старыми девами. Другие — счастливчики. Они рано или поздно находят если и не точную копию своего идеала, то во всяком случае нечто удивительно сходное с ним. Они находят своих принцев и принцесс.

Мой принц — неужели я нашла тебя?

4 августа.

Жорж так заинтересовался разоблачением инкогнито мистера Гарвея, что положительно не находит себе покоя. Он по целым дням бродит по острову и при каждом удобном и неудобном случае вступает с жителями городка в разговоры. До сих пор, однако, ему не удалось узнать ничего достоверного. Это приводит его в злобное настроение. А это настроение он срывает, по обыкновению, на мне. Его грубые выходки становятся подчас совершенно невыносимы. Иногда, несмотря на все мое самообладание, я не могу удержаться от слез.

Сцены между нами разыгрываются обыкновенно утром или поздно вечером, когда мы остаемся наедине.

Вчера я не выдержала. Когда Жорж начал говорить мне грубости и швырять вещами чуть не в самое мое лицо, я сказала:

— Что ты хочешь от меня, Жорж? Если ты терпишь неудачу в своих шпионских занятиях — я, право же, тут не при чем.

Это замечание взорвало его окончательно.

— Молчи, — закричал он. — Ты воображаешь, что я не угадываю твоих мыслей? Напрасно, милая... Я читаю их так же ясно, как и свои собственные.

— Например? — спросила я, чувствуя страшный прилив негодования на это грубое животное.

— Я вижу все. Ты думаешь, я не замечаю твоего скрытого торжества по поводу моих неудачных изысканий? Или по поводу того, что мне приходится скрывать свои истинные убеждения и подделываться под тон избежавших народного суда негодяев? Что, не так? Посмей только отрицать. Или, может быть ты скажешь, что общество этих людей тебе не приятнее, чем мое? Что же ты молчишь?

— Ты совершенно прав, Жорж, — произнесла я, сдержав себя усилием воли. — Ты совершенно прав. Я не могу не радоваться неудаче твоих шпионских проделок. И знаешь почему? Потому, что самый последний из жителей острова во много тысяч раз ближе мне, чем ты. Все эти люди одних со мною убеждений и взглядов; все они так же ненавидят ваш кровавый социалистический рай, как и я. Половина из них, если не больше, люди моего положения и общества. Они для меня — живое воспоминание о том невозвратном и дорогом моему сердцу времени, когда жизнь была такой красивой, такой светлой и радостной. Ты и подобные тебе растоптали ее цветы, погасили светлые огни и хрустальный источник бытия обратили в грязную, вонючую лужу. Вы обещали людям рай — и что же вы им дали? Смрадный свиной хлев, полный гниющих трупов, крови и паразитов.

И это — рай? Вместо братства — братоубийство; вместо свободы — неслыханная тирания; вместо равенства — миллионы париев. Вместо медвяных рек и кисельных берегов — ужасы голода и каннибальство; вместо любви — ненависть; вместо благоденствия — нищета, а вместо безопасности — грабежи, насилия и убийства? Так-то вы осчастливили человечество, Жорж?

Да, я радуюсь твоим неудачам. Радуюсь потому, что угадываю твои желания. Ты хочешь и этот, единственно уцелевший во всем мире, клочок земли залить потоками крови. Но это не удастся тебе — слышишь? Не удастся.

Жорж слушал меня молча. Только лицо его побледнело, да нижняя, чуть закушенная, губа дрожала от сдерживаемого гнева. Когда я замолчала, он перестал ходить по комнате и, опустившись в глубокое кресло, по-видимому спокойно сказал:

— Ты думаешь? А представь себе — я уверен, что ты ошибаешься. Правда, я узнал мало. Но все-таки кое-что я узнал.

— Именно?

— Во-первых, этот твой Джон Гарвей, которым, кстати сказать, ты так восхищаешься, очень богат. Говорят, что у него более миллиарда чистым золотом. И это золото, по-видимому, здесь.

— Ну так что же?

— Очень много. Золото — великий кудесник. Оно может самого честного и преданного человека обратить в негодя и предателя. И даже не одного, а целую сотню или тысячу. Если повести широкую, но осторожную пропаганду...

— Ты хочешь...

— Я хочу некоторых друзей мистера Гарвея обратить в его врагов. А потом... Потом мы сделаем маленький переворот — и дело в шляпе. Если миллиард разделить даже на две тысячи человек, то и то каждый окажется обладателем полумиллиона. Но, конечно, в дележе примет участие несравненно меньшее количество людей. В этом отношении я аристократ и держусь мнения, что плебс не должен по-

лучать слишком много. Иначе он возгордится. А гордость ему не к лицу.

— Ну, а потом? — спросила я, вся замирая от отвращения.

— Потом... Потом, если понадобится, будет маленькое кровопускание. А потом над островом взвьется красное знамя и будет возвещено по радио всему миру, что последний оплот капитализма пал.

— И все?

— А тебе этого мало? Впрочем, когда у нас с тобой будет полмиллиарда, а может быть, и больше, мы можем придумать кое-что и получше, чем сидеть на этом проклятом острове. Кстати, я назову его тогда островом «Нового Мира». Поверь, что при помощи террора я сумею управлять им не хуже мистера Гарвея. Кстати: мне все же кажется, что он именно то лицо, о котором я тебе говорил.

— Тебе сказал это кто-нибудь?

— Нет. Населяющие остров идиоты сами ничего не знают. Их вербовал для колонизации этот, как его? Стивенс. Несколько десятков человек, может быть, и знают истину, но они рабски преданы своему повелителю. Нет, мне никто ничего не сказал, но, судя по богатству нашего милейшего хозяина, я думаю, что он именно тот известный миллиардер, имя которого знали все на континенте. Если так — я поймаю недурную рыбку.

Я посмотрела Жоржу прямо в глаза и сказала:

— Негодяй!

После этого я встала, прошла в свою комнату и заперлась в ней на ключ.

5 августа.

Всю ночь я не спала. Голова моя горела, как в огне и неотступные, назойливые мысли ни на секунду не дали мне сомкнуть глаз. Что делать? Как найти выход из создавшегося ужасного положения? Я не сомневалась, что Жорж приложит все усилия, чтобы привести в исполнение свой гнусный план. Надеяться на то, что мне удастся отго-

ворить его — было бы безумием. Жорж никогда не менял своих решений, каковы бы они ни были. Только неблагоприятное стечение обстоятельств или чудо могло заставить этого человека отказаться от намеченных действий. На второе я не могла рассчитывать, первое же Жорж всегда умел как-то удивительно удачно парализовать.

Единственное, что я могу сделать — это рассказать обо всем мистеру Гарвею. Но поступить так — значит предать и погубить Жоржа. С другой стороны, молчать и предоставить все собственному течению — значит погубить не только мистера Гарвея и его ближайших друзей, но десятки, а может быть, и сотни других человеческих жизней. Значит допустить братоубийственную резню и превратить этот благословенный и мирный уголок земли в кипящий котел самых отвратительных человеческих страстей.

Что делать? Что делать?

Меня влечет чувство неудержимой симпатии к мистеру Гарвею. Мое увлечение этим человеком крепнет с каждым днем. Я часто ловлю себя на том, что подолгу думаю о нем, ищу с ним встречи. Мне скучно без его общества, без его милых рассказов, своеобразных рассуждений, трогательной внимательности и постоянного желания быть мне чем-нибудь приятным. С ним — мне тепло, легко и свободно. Когда я сижу вблизи него, смотрю в его лицо и прислушиваюсь к звукам его голоса, — мне кажется, что все, пережитое мною за эти три года, только кошмарный сон.

Весь тот грязный налет, который оскверняет мою душу и тело, как бы смывается от общения с этим человеком. Я снова кажусь самой себе той чистой и гордой Марой, которая была светлым солнцем для моей несчастной семьи.

Я чувствую, что мистер Гарвей становится мне с каждым днем все ближе. Что это за чувство? Неужели любовь? Не знаю — я ведь никого и никогда еще не любила. По крайней мере — настоящей любовью.

Нет, я не могу предать этого человека. Не могу... Я завтра же расскажу ему все, все.

А Жорж? Могу ли я обречь его на верную гибель? Я ненавижу его. Но все же — он мне близкий человек и бывают

минуты, когда он мне дорог, несмотря на все то ужасное зло, которое он причинил мне. Если бы я могла освободиться от его сатанинской власти! Если бы единственным чувством к нему оставалась одна ненависть. Только ненависть. Тогда я не колебалась бы. Тогда мой путь был бы ясен и прям. Но теперь...

Боже, Боже! — научи, что же мне делать?

Я сбрасывала покрывавшую меня и жегшую мое тело, как огонь, простыню, становилась на колени и, прижавшись пылающим лбом к холодному металлическому изголовию кровати, жарко молилась. Но молитва не успокаивала меня и не рассеивала мучивших меня сомнений.

Я зарывалась головой в подушку, стискивала ее зубами и давала волю слезам.

Так прошла вся ночь. Когда я встала и, чувствуя себя совершенно больной и разбитой, принялась за туалет, меня осенило решение. Правда, это было решение, достойное женщины. Явный паллиатив. Но все же я остановилась на нем.

Я разрешила вопрос таким образом: выждать несколько дней и затем уже действовать сообразно обстоятельствам. Может быть, Провидение придет мне на помощь.

12 августа.

Я очень огорчена: уже три дня, как мистер Гарвей как-то странно отделился от меня. Он заходит очень редко и не надолго и все куда то торопится. Не могу понять, что является причиной такой перемены. Боюсь, что до мистера Гарвея дошли слухи о поведении Жоржа. Не сомневаюсь, что его вечные расспросы могли вызвать подозрение у кого-либо из жителей городка. Я сказала ему о своих предположениях, но он в ответ только презрительно рассмеялся. На душе у меня очень тяжело. Только теперь, когда я так редко вижу мистера Гарвея, я вполне поняла, кто и что он для меня. Эти последние дни еще усилили мое чувство. Кажется, никогда и ничего в жизни я так не желала, как сейчас желаю возврата наших прежних отношений с этим челове-

ком, ставшим для меня неожиданно столь дорогим. Неужели же я совсем, совсем не нравлюсь ему?

14 августа.

Сегодня, после утреннего завтрака, у меня произошел с Жоржем следующий разговор.

— Можешь успокоиться, — с иронической улыбкой сказал он, — с сегодняшнего дня я прекращаю свои прогулки в городок.

Я почувствовала, как с меня скатывается какая-то огромная, давившая меня все последнее время тяжесть.

— Можно узнать, почему?

— Конечно. У меня от тебя нет секретов, чего, к сожалению, не могу сказать про тебя.

Мне показалось, что в насмешливом тоне Жоржа дрогнули печальные нотки. Уже в следующую секунду это впечатление рассеялось.

— Видишь ли, — продолжал он уже деловым тоном, — я пришел к сознанию необходимости изменить свой первоначальный план.

— Это уже второй раз, — насмешливо заметила я.

Он вспыхнул.

— Да, второй раз. Но что же из этого? Если понадобится, я еще сто, тысячу раз буду менять планы. И затем, первый мой план рухнул не по моей вине. Я понятия не имел, что этот идиотский остров не значится ни на одной из самых подробных карт. Если бы мне даже удалось попасть в число радио-телеграфистов и послать во время моего дежурства радио, то как бы я смог указать точное местоположение острова? Твоя ирония тут совершенно неуместна, моя милая.

— Я и не думаю иронизировать. Я просто констатирую факты.

Ну, хорошо, допустим, что первый план распался не по твоей вине. А последний? Ведь несколько дней назад ты находил его столь блестящим и удобоисполнимым?

Жорж закусил губу.

— Я приказываю тебе немедленно оставить этот тон. Слышишь?

И уже более спокойно продолжал:

— Есть препятствия, с которыми не в силах справиться человек даже такой энергии, как я. Этот каналья Стивенс умудрился подобрать таких людей, пропаганда между которыми совершенно невозможна. Это какие-то фанатики капиталистического строя и всех, связанных с ним, буржуазных мерзостей. Этих тупоголовых ослов не только невозможно заставить изменить взгляды на вещи, но с ними прямо опасно разговаривать. При малейшем намеке на интересующую меня тему они или прекращают разговор или начинают смотреть такими волками, что рука сама собой тянется к карману за револьвером. Эткие кретины! Они, видите ли, вне себя от счастья, что вовремя убрались с проклятого континента. Им, видите ли, ничего не нужно, они довольны свыше меры своим положением, существующим на острове порядком, а особенно досточтимым, высокоуважаемым сэром Джоном Гарвеем. Если бы не он-де, так они все бы погибли и все потеряли бы. А теперь они ведут сытую, привольную, спокойную жизнь, а когда на континенте, наконец, восстановится нормальный порядок, каждый из них получит по сто тысяч долларов и волен делать, что ему заблагорассудится. Вернуться на континент, жить на острове или ехать в любую страну мира.

Что же касается приверженцев и распространителей всяких безумных идей, то их надо просто всех до одного линчевать. Вот что говорят эти идиоты. И это мысли матросов, рабочих, конюхов. Вообще, простых людей. Чего же ждать от остальных? Если я только заикнусь о перевороте — они мне свернут шею, как цыпленку.

Бедный Жорж, он был очень расстроен. Во мне же, наоборот, ликовала самая буйная радость. Но я ничем не выказала ее. Напротив, я совершенно равнодушно спросила:

— Что же ты теперь намерен предпринять?

— Этого я тебе сейчас не скажу. Я могу посвятить тебя только в план предварительных действий. Мне необходимо узнать три вещи: точное местоположение острова, точ-

ную цифру состояния мистера Гарвея и место, где хранится все золото.

И, в упор смотря на меня тем взглядом, который всегда лишал меня сразу и силы воли и способности оказывать сопротивление, Жорж медленно и твердо проговорил:

— Эти сведения должна узнать для меня ты.

— Что ты говоришь? — едва была я в состоянии произнести. — Что ты говоришь, как могу я узнать то, что составляет величайшую тайну мистера Гарвея?

Он усмехнулся.

— На то ты женщина, моя милая. И притом молодая и красивая женщина. Не мне указывать тебе пути к достижению цели. Ты можешь и должна мне все это узнать. Понимаешь, должна. А остальное — твое дело. Могу сказать только еще следующее: ты знаешь, что в таких вопросах я вообще не очень строг; ну а с сегодняшнего дня я закрываю глаза на все. Слышишь, на все. Ведь тебе же нравится мистер Гарвей? Не отрицай — я чувствую, что это так. Ну вот тебе и предоставляется случай совместить приятное с полезным.

Такой наглый цинизм взорвал меня.

— Ты... Ты предлагаешь мне... О, Жорж, я знала, что ты негодяй, но никогда не предполагала, что ты пал так низко. Этого не будет никогда.

— Это будет, потому что я так решил, Мара.

— Ты с ума сошел! Но это невозможно уже потому, что я совсем не нравлюсь мистеру Гарвею. Ты сам видишь, что уже несколько дней он положительно избегает меня. Я не только не желаю, но прямо не в силах исполнить твое требование.

— Тем не менее, ты исполнишь его. Или... Ты, кажется, достаточно хорошо знаешь меня?

Я ли не знала Жоржа!

Боже, когда Ты освободишь от власти этого человека мою душу и мое тело?

— Хорошо, Жорж, — сказала я. — Постараюсь узнать все, что тебе нужно.

Я согласилась. Но одновременно твердо решила, что даже в том случае, если мне удастся снова завоевать расположение мистера Гарвея — я не сделаю ни малейшей попытки выведать у него то, что так интересовало Жоржа. Лучше ложь, чем такая низость.

20 августа.

Мистер Гарвей по-прежнему держится в стороне. Это для меня двойная пытка. Во-первых, потому, что я действительно страдаю, не видя милого моему сердцу человека, а во-вторых, потому, что Жорж из-за этого положительно отравляет мне жизнь. Он уверен, что я нарочно не делаю попыток сближения с мистером Гарвеем. Он страшно груб со мной, постоянно устраивает мне сцены. Однажды даже ударил меня. Это животное дошло уже и до этого. Я чувствую себя страшно одинокой, беспомощной и несчастной. Глаза мои распухли от слез и никакие ухищрения косметики не в состоянии придать векам их нормальный вид. Кажется, Джефферсон уже обратил на это внимание. По крайней мере, я несколько раз ловила на себе его пристальный взгляд.

Мой принц, мой принц! Неужели же ты ничего не чувствуешь и не замечаешь? Или, может быть, не хочешь заметить?

3 сентября.

Сегодня для меня блеснуло солнце. Его лучи прорвались сквозь окутывавший меня мрак так неожиданно, засверкали так ярко, что мне до сих пор кажется сном все то, что произошло в этот день. Мой принц вернулся. Мало того, что вернулся. Он несколько раз горячо поцеловал меня и при этом сказал, что любит меня так, как не любил никого и никогда в жизни. Если это сон, то я хочу, чтобы он длился вечно.

Я сама не знаю, как это случилось. После парадного завтрака (сегодня день рождения мистера Гарвея), мы неболь-

шой компанией отправились на прогулку. У меня было очень тоскливое настроение, но я крепилась, не желая нарушать общего веселья. Не помню уж, как мы очутились вдвоем. Вероятно, отстали от других.

Помню еще, что нервы мои не выдержали и я расплакалась. Что-то говорила, в чем то упрекала. Словом, со мной творилось что-то неладное. А в результате — огромное счастье. Такое счастье, о котором я даже и мечтать не смела. Особенно последние дни.

Когда мы пошли переодеваться к обеду и остались одни с Жоржем, он неожиданно поцеловал меня в обе щеки и сказал:

— Поздравляю с победой. Я очень своевременно оглянулся и все видел. Ты отлично повела дело.

От этих слов Жоржа у меня на душе стало невыразимо гадко. Какой негодай! Он, кажется, искренне воображает, что мое отношение к мистеру Гарвею является не чем иным, как искусной игрой, целью которой служит гнусный шантаж.

Ну, что же — тем лучше.

Вечером, однако, радужное настроение покинуло Жоржа и, по приходе домой, он устроил мне грубейшую сцену. Причиной этой сцены была радио-грамма о перевороте в России. Оказывается, я не смела выражать радости по поводу событий на моей родине.

Впрочем, мое настроение не могли испортить и десять подобных сцен.

10 сентября.

Жорж упрекает меня в том, что я слишком медленно веду дело. По его мнению, я давно уже могла выведать нужные сведения.

— Ты больше занимаешься с этим долговязым янки поцелуями и воркованием, чем делом. Смотри, мое терпение может истощиться.

— А ты откуда знаешь, чем я занимаюсь? — вызывающе спросила я.

— Я знаю все, что мне нужно, — зло посмотрев на меня, ответил Жорж.

Мне стоило больших усилий сдержаться и не сказать ему всего, что я о нем думаю. Но я взяла себя в руки. Я даже сумела убедить Жоржа, что мистер Гарвей очень подозрителен и что приступать к нему с такими вопросами преждевременно, значило погубить все дело. Не знаю, поверил ли он. Во всяком случае, сделал вид, что поверил.

Подлый шпион. Он, несомненно, следит все время за мною и мистером Гарвеем во время наших интимных прогулок.

Надо предостеречь моего принца.

24 сентября.

Я все реже и реже заглядываю в свой дневник. О чем писать? Все равно словами не передать всех моих переживаний и всего того, что я чувствую. Мое счастье так полно, так огромно, что его не втиснуть ни в какие земные рамки и не измерить никакой мерою.

Есть, конечно, на безоблачном горизонте моей любви и темные точки. Но они еще далеко, слишком далеко для того, чтобы думать о них. Терзать себя мыслями о том, что может быть по меньшей мере глупо. Надо жить минутой.

4 октября.

Я свободна, наконец. Не совсем, конечно. Физически я все еще нахожусь под властью Жоржа и являюсь его рабой. Но главное это то, что я сбросила свои духовные оковы, что из рук Жоржа выбито то страшное оружие, посредством которого он держал меня в моральном плену.

Три года я была покорной и безгласной рабой этого ужасного человека. И из этих трех лет всего два месяца я любила его. То есть, я думала, что любила. Ибо я очень скоро убедилась, что чувство, соединявшее меня и Жоржа, никогда не имело права именоваться любовью. Оно просто было страстью; самой обыкновенной животной страстью,

извращенной, ненормальной, похотливой.

Такой же извращенной и похотливой, как апологеты и проповедники ее — желтолицые эротоманы дряхлой Страны Неба. Не они ли, сотнями поколений создававшие науку разврата, науку властвовать над душой женщины посредством растления каждой точки ее тела, были учителями Жоржа? Кто знает, не в одном ли из притонов «Желтых кварталов» Сан-Франциско или Нью-Йорка был заложен краеугольный камень моего рабства?

Я очень скоро убедилась, что не люблю Жоржа. И очень скоро поняла, что начинаю его ненавидеть. И все же я оставалась его рабой. Мой дух негодовал, мой дух возмущался и восставал против позорных оков, но мое тело было бессильно и своим бессилием гасило вспышки духа. Каждая попытка бунта неизменно оканчивалась поражением, но каждое поражение усиливало мою ненависть к Жоржу.

Я ненавидела и презирала его за все. За то, что по игре случая он оказался служащим в предприятии моего отца; за то, что благодаря этому я увидела его, увлеклась его внешностью и тайно от родителей познакомилась с ним; за то, что я отдала ему свою первую любовь и свои лучшие святы чувства. Чувства, над которыми он так скоро, так цинично и так безжалостно насмеялся.

Да, за все, за все ненавидела я этого человека. За его предательство в отношении моих родителей при начале революции; за его демагогические приемы, сразу сделавшие его одним из виднейших вожakov обезумевшей черни; за наше разорение и унижения, причиненные моей семье; за мой собственный позор.

День и ночь неустанно благодарю я Бога за то, что Он не послал моим старикам последнего и самого страшного для них удара: они умерли, не подозревая того, что их Мара, их дочь, была любовницей человека, сыгравшего такую гнусную роль в дни роковой катастрофы.

Увы, в те дни я еще думала, что люблю Жоржа и даже верила ему. Я верила в то, что он взял на себя роль вожакa толпы для того чтобы спасти моих родных и наше состояние. Я верила в его порядочность, в его любовь ко мне, во

все, что он говорил. Ведь те дни были весной нашей любви. А какая же женщина не верит любимому человеку?

Но вот удары посыпались на меня. Умерли родители, потом погиб брат, потом... Нет, даже теперь, спустя три года, я боюсь вспоминать о тех несчастиях и разочарованиях, которые постигли меня. Словом, я очень скоро узнала, кем был в действительности Жорж.

Тогда-то и начались мои муки. С одной стороны, я ненавидела и презирала обманувшего меня человека; я жаждала освободиться от его гнусной власти, жаждала сбросить с себя позорное иго. С другой — я не имела сил расстаться с Жоржем, страдала при одной мысли о разрыве.

Я металась в этом заколдованном круту, ища выхода. Я проклинала мое слабование, мою нерешительность, саму себя, Жоржа, весь мир. Миллионы раз я стояла на грани бесповоротного решения; тысячи раз я уходила с твердым намерением никогда не возвращаться. И все-таки не могла уйти окончательно. И все-таки возвращалась.

Возвращалась — ибо понимала, во первых, что без поддержки и могущественного покровительства Жоржа я очень быстро погибну от лишений, а во-вторых... Во-вторых — мне стыдно признаться в этом даже себе самой — я знала, что если уйду, то никогда уже не встречу человека, который мог бы дать мне такие острые физические переживания, такое наслаждение. Да, я не нашла бы такого человека. Да и не стала бы искать.

Я оставалась, но ничего не забывала.

И ничего не прощала: ни деятельности Жоржа, ни его жестокости, ни его готтентотской морали; ни свойственной ему подлости и низости, ни пожиравшей его душу неутолимой жажды наживы... Я не могла ему простить даже того, что по странному капризу судьбы он носил то же имя, которым звали моего погибшего брата.

Я задыхалась от негодования, слушая его циничные рассуждения и садистические рассказы о казнях и убийствах, которые каждый день совершались по его приказу и за его подписью. Я не могла видеть наглого выражения его лица, когда он, сделав какую-нибудь очередную гнусность, улы-

баясь, сообщал, сколько это принесло ему дохода. На мои слезы и гнев он спокойно говорил:

— Цель — оправдывает средства. А затем, милая моя, я практик коммунизма. Практик, а не теоретик.

И равнодушно закуривал сигару.

Я ненавидела Жоржа даже тогда еще, когда он приближался ко мне и заключал меня в свои объятия. Но как только его губы касались моих, как только он начинал осыпая меня своими извращенными ласками, мой темперамент вступал в свои права. Кровь вспыхивала, неслась расплавленной массой по моим жилам и ее бурный поток, как легкие пушинки, уносил с собой и мою ненависть и мое презрение к Жоржу.

Я забывала о том, что он — бывший конторщик в предприятии моего отца; забывала, что он — человек неизвестного происхождения и авантюрист, сделавший карьеру на отвратительном предательстве; что он — негодяй и убийца. Я не думала ни о моей гордости, ни о жажде мести.

Все тонуло в пароксизме извращенной страсти. В эти минуты для меня не было ничего и никого дороже Жоржа.

А потом я снова ненавидела его, презирала себя и проклинала свое рабство. И так три года. Три долгих года.

И вот вчера я освободилась. Навсегда. Я чувствую, я знаю это. Конечно, освобождение произошло не сразу. Оно подготавливалось давно и незаметно. С тех пор, как я впервые увидела мистера Гарвея. Уже тогда на страшном оружии Жоржа появилась маленькая, едва заметная трещинка. Внезапное отдаление затронувшего мое сердце человека еще углубило эту трещинку, а первый поцелуй мистера Гарвея сделал ее еще глубже и шире. И каждый день, каждый час росла она по мере моего сближения с отысканным мною принцем. И вот страшный талисман сломался. Я свободна.

Вчера, когда я уже лежала в постели, в мою комнату вошел Жорж. Как и всегда при подобных визитах, он подсел ко мне на кровать и хотел обнять меня. Я отстранилась. Это его не смутило, так как я никогда не уступала сразу. Жорж придвинулся еще ближе, поймал мои руки, крепко сжал их и, наклонившись, поцеловал меня. Обыкновенно с

этого момента я считала себя побежденной. Но сегодня в моем воспоминании почему-то встал образ другого человека. И от этого показался мне еще отвратительнее Жорж. Я содрогнулась. Вместо страсти с ужасающей силой вспыхнуло все, что годами накопилось в моей душе против этого человека.

Я вырвалась из его объятий, села и, отодвинувшись в дальний угол кровати, сказала:

— Оставьте меня, Жорж. Раз и навсегда... Прошу вас. Между нами все кончено.

— Что это значит, Мара?

Густые брови его сошлись дугой, а глаза вспыхнули недобрый огнем. Обыкновенно такая перемена в его лице внушала мне непреодолимый, чисто животный страх. Но сейчас я не испугалась.

— Это значит, что я ненавижу вас, что вы противны мне до отвращения. Это значит, что я больше никогда не буду принадлежать вам и что вы должны забыть обо мне, как о женщине.

Губы его дрогнули в жестокой улыбке.

— Что это? Бунт?

— Меня мало интересует, под какое название угодно вам будет подвести мой поступок. Для меня важно то, что он давно мною обдуман и что от принятого решения я ни в коем случае не отступлю.

— Посмотрим, — процедил сквозь зубы Жорж. — А могу я узнать, что побудило тебя принять такое решение?

— Очень многое. Во-первых то, что я всегда ненавидела и презирала вас; во-вторых, то, что вы для осуществления своих гнусных планов не остановились даже перед тем, чтобы торговать моей красотой и даже моим телом.

— Так... Есть еще что-нибудь?

— Да. В третьих — я люблю другого человека.

— Конечно, этого долговязого янки? Я нахожу, что раз уж ты решила порвать со мною, то могла бы сделать выбор лучше.

— Я не спрашиваю вашего совета и не ищу вашего одобрения. Кроме того, прошу вас твердо запомнить, что ни-

какого содействия в достижении ваших грязных целей я вам оказывать не буду. Ни прямого, ни косвенного. Слышите? А если вы вздумаете бить меня, я обо всем расскажу мистеру Гарвею. Это мое последнее слово.

Я говорила все это спокойно и сдержанно и все время упорно смотрела прямо в лицо Жоржа. Я видела, как оно постепенно багровело, как вены на висках и на лбу стали надуваться и как начала подергиваться левая щека. Я знала, что взрыв был неминуем и что он будет страшен. Но я твердо решила не отступить ни на йоту.

— Это твое последнее слово? — спокойно и даже мягко спросил Жорж.

— Да.

— Очень хорошо. Но я еще не сказал своего последнего слова. И я не думаю, чтобы оно тебе понравилось.

К моему изумлению, он поднялся и не торопясь вышел из комнаты. У меня замерло сердце. Я достаточно хорошо знала Жоржа, чтобы быть уверенной в том, что наш сегодняшний разговор еще не закончен.

И я не ошиблась.

.
.

Это была отвратительная сцена. Сцена, полная грубых упреков, жестоких угроз, брани и даже ударов. Да, и ударов. Жорж не остановился и перед этим средством, чтобы снова подчинить себе мою волю. Но он не добился ничего. Стиснув зубы, не отвечая ни одного слова, я твердо выносила все. Я совершенно ясно отдавала себе отчет в том, что между мною и Жоржем происходит последний решительный бой и что я освобожусь от его власти или теперь, или никогда. У полководца, бросившего свои войска в огонь генерального сражения, всегда должен быть резерв. Моим резервом было — молчание.

Заговори я, возрази я хотя несколько слов — и я была бы побеждена. За словами последовали бы слезы, а слезы — делают нас, женщин, слабыми и бессильными. Зная это,

я превратилась в истукана. Я сделалась глухой, немой и бесчувственной. Все мысли, все усилия воли я сосредоточила только на том, чтобы не дать ослабеть чувству того молчаливого ожесточения, которое делало меня неуязвимой для Жоржа.

И я победила. Сильным толчком отбросив меня в угол кровати, бледный от гнева Жорж порывисто выпрямился и, в упор глядя на меня, сказал:

— Вот что, моя милая, пока мой план не приведен еще в исполнение, я, так и быть, даю тебе свободу. Слышишь? Я даже не прикоснусь к тебе. Можешь развлекаться с этим идиотом Гарвеем, как тебе заблагорассудится. Кроме того, я решительно отказываюсь от всякой твоей помощи. С этого момента я начинаю действовать самостоятельно. Но помни, если ты хоть одним намеком предупредишь о чемнибудь твоего возлюбленного янки, я убью тебя. Это я, во всяком случае, успею сделать перед своею гибелью. Понятно?

Я по-прежнему ответила гробовым молчанием.

— Думаю, что понятно, — продолжал Жорж. — Ты отлично знаешь, что я могу все.

И он вышел.

Да, Жорж может все. Все. В этом я никогда не сомневалась. И мне все было понятно.

Тело мое нестерпимо болело и ныло, по щекам текли слезы, но в душе моей, как и в природе, цвела весна.

Я свободна.

И, не знаю почему, но во мне жила твердая уверенность, что я свободна не на время, а навсегда.

7 октября.

Сегодня мистер Гарвей просил моего согласия стать его женой. Втайне, сама себе не отдавая отчета, я, может быть, и ждала этого. Но реально, конкретно, я не думала об этом никогда. Не думала потому, что никогда не думаю о невозможном. А пока жив Жорж, пока я так или иначе связана с ним, я не могу стать женой мистера Гарвея.

Его слова подняли во мне целую бурю противоречивых чувств. Светлая радость, ликующее счастье и неизъяснимый восторг захлестнули в первое мгновение мою душу. И сейчас же сменились страшной тоской от сознания невозможности и несбыточности тех грез, которые были столь внезапно навеваны мне словами любимого человека.

Что я могла сказать ему в ответ на эти слова? Дать свое согласие? А дальше? Ведь я собственность Жоржа. Правда, три дня назад я порвала последнюю нить, связывавшую меня с этим человеком, но все же я его собственность. Он скорее убьет меня, чем откажется от своих прав надо мною.

Идти открыто на разрыв? Явно обнаружить свой позор и свою ложь? Но это сразу же и без остатка может убить в мистере Гарвее всякую любовь ко мне. Разочарование — лучшее средство от самой пылкой любви.

Отказать? От одной мысли о том, что я могу лишиться общества дорогого мне человека, у меня начинало мутиться сознание. А он уйдет. Конечно, уйдет, если я откажу ему. Он слишком горд, слишком самолюбив, чтобы остаться, получив отказ. Наконец, чем могу я мотивировать подобное решение? Мистер Гарвей знает, что я люблю его. В его глазах — я девушка, абсолютно свободная и ни с кем не связанная сердечными отношениями. Разве могу я открыть мистеру Гарвею все, все? И то что я не сестра Жоржа, а его гражданская жена; и то, что Жорж воспользовался документами моего погибшего брата для того, чтобы под чужим именем легче выбраться из Америки, где ему грозила жестокая кара за совершенные им по должности преступления...

Нет, лучше умереть, чем сказать все это.

Я не ответила мистеру Гарвею ни «да», ни «нет». Я прибегла к обыкновенной уловке женщин в таких случаях: сказала, что мне необходимо время для размышления и просила не торопить меня.

Для чего я это сделала? На что я надеялась? Что могло измениться за неделю, месяц, даже полгода?

О, если бы мистер Гарвей не был бы так честен. Если бы он забыл хотя на время свои взгляды джентльмена и

принципы порядочного человека. Если бы он знал и чувствовал, как я хочу только одного — быть его, только его, всецело принадлежать ему и пить полными глотками из чаши наслаждения. Пить, не задумываясь над тем, что есть, что будет и что может быть. Ведь я люблю его. И ясно вижу, что и он любит меня. Почему же мы не можем принадлежать друг другу'?

Почему?

11 октября.

Когда мы остаемся наедине, Жорж почти не разговаривает со мной. Вообще же он больше совершенно не упоминает ни о своих планах, ни о своих намерениях, ни о том, как он собирается осуществить те и другие. С одной стороны, это меня радует, так мне гораздо спокойнее. С другой — я не могу не сознавать, что опасность не только не миновала, но, наоборот, стала еще грознее. У меня такое ощущение, как будто под дом, где я живу, подводится страшной силы взрывчатая мина. Я не знаю, откуда ее ведут, не знаю, как далеко ушел уже подкоп и когда последует взрыв.

Но я знаю, я чувствую, что взрыв неминуем. Вечный страх и сознание полнейшей беспомощности. Ужасные, непередаваемые ощущения.

Если я скажу что-либо мистеру Гарвею, это ничему не поможет. У меня нет доказательств и Жорж всегда может отговориться тем, что я наклеветала на него. Зачем?

Мало ли зачем. Он может быть, например, против моего чувства к мистеру Гарвею и тем возбуждает мою злобу.

Наконец, если я скажу, он действительно убьет меня. Он это сказал. А в таких случаях я ему верю.

Мне очень не нравится его дружба с мистером Гарвеем. А еще больше эти постоянные разговоры между ними до поздней ночи за стаканами вина. О чем они могут говорить? Я уверена, что все это добром не кончится. Мистер Гарвей слишком доверчив. Будучи сам человеком в высшей степени честным, благородным и прямым, он, насколько я

заметила, склонен и в другом человеке находить те же до-
стоинства. Пожалуй, Жорж действительно может во время
дружеских бесед вывести все, что ему нужно. Я уже не-
сколько раз предупреждала мистера Гарвея намеками, но
он, по-видимому, ничего не понимает. Говорить яснее боюсь.

А Жорж подозрительно весел.

13 октября.

Сегодня, во время морской прогулки на «Плезиозавре»,
едва не случилось непоправимое. Мой темперамент хотел
сыграть со мною плохую шутку. Сидя в салоне вместе с ми-
стером Гарвеем, я под влиянием его объятий совершенно
потеряла голову. Длительное, непрерываемое горение стра-
сти, которое со времени разрыва с Жоржем совершенно не
находит себе никакого выхода, отуманило мой мозг и ли-
шило меня всякого самообладания.

На этой почве у нас произошла с мистером Гарвеем раз-
молвка. А результатом размолвки была истерика, во время
которой я чуть-чуть не сказала того, чего не следовало го-
ворить. Слава Богу, я вовремя удержалась.

Дала себе слово быть осторожнее и крепче держать себя
в руках.

18 октября.

Откуда у Жоржа эта страсть к чтению? Я никогда рань-
ше не замечала ее в нем. Сидит положительно по целым
дням за книгой, а нередко читает даже в библиотеке или
кабинете мистера Гарвея.

Еще купается. По несколько раз в день. Вчера его чуть-
чуть не растерзала акула. Если бы мистер Гарвей не закри-
чал, все было бы в порядке. Я знаю, что зло и нехорошо так
думать. Но ведь и Жорж очень злой человек.

Ах, зачем, зачем закричал мистер Гарвей?

27 октября.

Работы по подводке мины закончены и все готово к взрыву. Я знаю даже час, когда этот взрыв произойдет. Мне неизвестно только его место. В этом-то и весь ужас. Что делать? Голова моя горит и кровь так стучит в висках, что я с трудом могу держать перо. Я не могу даже предупредить мистера Гарвея. Жорж, уходя, запер меня в комнате на ключ. Выбраться через окно я не решаюсь. Оно слишком высоко, да и Жорж может услышать, когда я начну его открывать. Он, наверное, не будет спать всю ночь, карауля меня.

Боже, Боже, такой чудный, так весело проведенный день и такой ужасный вечер. Вечер и ночь. Ибо я чувствую, что мне не удастся сегодня забыться сном ни на секунду.

Я сама не знаю, зачем я пишу все это. Просто, вероятно, потому, чтобы отвлечь свои мысли от ужасной действительности...

Я не имею понятия о том, что должно произойти. Впрочем, лучше я опишу все по порядку. Чем больше времени я буду занята делом, тем меньше останется времени для страшного раздумья.

Сегодня мы вернулись с нашей морской прогулки очень поздно. Мы ездили большой компанией и очень далеко, дошли до линии паровозных рейсов. Мистер Стивенс, смеясь, говорил, что это — поездка за «покупками». И, действительно, мы кое-что купили на встретившемся нам большом пароходе.

Жорж, сославшись на нездоровье, отказался нас сопровождать. Мне это очень, очень не понравилось. Жорж никогда ничего не делает без тайной цели.

Когда поздно вечером я приготавливалась уже ко сну, неожиданно вошел Жорж. С времени нашего разрыва это первый раз, что он появился у меня в комнате. Я очень удивилась и немного встревожилась, но ничем не выказала своих чувств. Жорж был чрезвычайно весел и оживлен.

— Здравствуйте, будущая миллиардерша, — сказал он, делая глубокий иронический поклон.

Я молча слегка кивнула головой.

— Я вижу, вам не очень приятен мой визит. Что же делать, он необходим.

И, усевшись в кресло, он продолжал:

— Могу вам сообщить приятную новость: мне удалось и без вашей помощи узнать все, что мне было нужно. Вы молчите? Напрасно. Могли бы поблагодарить меня за труды и за мои старания сделать вас миллиардершей.

— Я вовсе не нуждаюсь в ваших заботах, — сухо произнесла я.

— Может быть. Но я так добр, что забочусь о вас и помимо вашего желания.

— Ради Бога, довольно этих плоских шуток. Говорите, что вам надо и потом уходите.

— Я пришел сообщить, что мой план вполне готов и что через несколько часов он будет приведен в исполнение.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего особенного. Пожалуйста, не бледнейте. Я просто хочу стать богатым человеком.

— Но что вы намерены делать?

— Что я намерен делать — об этом вы узнаете через три-четыре часа. А пока я не буду вам мешать. Можете делать, что хотите: спать, читать, размышлять. За двадцать минут до срока я предупрежу вас. А чтобы вам не пришла сумасбродная мысль поднять прежде времени переполох, я позволю себе принять меры предосторожности.

С этими словами Жорж встал с места и, выйдя из комнаты, закрыл дверь с наружной стороны на ключ.

Я осталась одна со своими мыслями.

Каковы намерения Жоржа? Убить мистера Гарвея? Ограбить его? Послать на континент радио-грамму? Захватить власть над островом в свои руки?

Я терялась в догадках и не знала, на какой из них остановиться. Одна была невероятнее другой.

Ясно было одно: готовилось что-то, что угрожало благополучию и жизни любимого мною человека. Даже, пожалуй, благополучию всего населения острова.

Я долго просидела без движения, стараясь разрешить мучившую меня загадку. Около четырех часов я услышала

осторожные шаги и звук поворачиваемого в замке ключа. Вошел Жорж. Лицо его было нахмурено и недовольно.

— Можете ложиться спать. Из-за проклятого тумана придется отложить на сутки приведение в исполнение моих намерений.

Я невольно с облегчением вздохнула. Завтра я улечу момент, чтобы предупредить мистера Гарвея. Под его защитой мне не страшны никакие угрозы Жоржа.

Но последний как будто угадал мои мысли. Он как-то криво усмехнулся и сказал:

— А чтобы предохранить себя от ваших козней, я вынужден буду прибегнуть к маленькому насилию над вами.

Я встала.

— Вы снова намерены бить меня?

— Успокойтесь и сядьте. Насилие выразится в гораздо более мягкой форме: вам просто придется завтра весь день пролежать в постели. Я объявлю, что вы больны и никого не принимаете. Уверяю вас, я буду очень заботливым и внимательным братом — я целый день не отойду от вашей кровати.

— Перестаньте паясничать. К чему эта комедия?

— Это не комедия, а предусмотрительность. Вы ляжете в постель, или... Я не остановлюсь ни перед какими мерами.

Я подумала, что даже лежа в постели, я как-нибудь найду возможность предупредить мистера Гарвея. В крайнем случае, я пошлю ему этот дневник. До ночи много времени. Лучше лечь в постель, чем терпеть новые побои. И я сказала:

— Хорошо, презренный вы человек, я притворюсь завтра больной.

— Вы удивительно милы сегодня, Мара. Я чувствую, что скоро мы будем с вами снова друзьями.

И слегка поклонившись, он вышел, опять закрыв дверь на ключ.

Я положу этот дневник в большой конверт и туда же вложу коротенькую записку мистеру Гарвею.

Надежда еще не потеряна.

ГЛАВА XV

На этом дневник мисс Мэри кончался.

Милостивые государи, Джону Гарвею, мистеру Джону Гарвею из Нью-Йорка на протяжении долгих лет его обширной и многообразной деятельности приходилось не раз узнавать самые неожиданные и потрясающие новости. Но, смею вас уверить, если бы жизнь вздумала вытряхнуть их из своего мешка не постепенно, а все сразу, то и в этом случае не получилось бы того впечатления, которое было порождено исповедью мисс Мэри.

Хотя то, о чем я рассказываю на этих страницах, отошло уже в область минувшего, хотя гроза, нависшая в то время надо мною и всем островом, уже пронеслась, я и теперь еще переживаю отдельные моменты событий так же остро и реально, как в ту, навсегда памятную для меня ночь.

Каждая моя мысль, каждое движение, каждый жест воспроизводятся моим мозгом с такой же точностью, с какою кинематографическая лента возрождает перед глазами зрителей сцены различных событий. Но сейчас мысли мои текут спокойно и плавно. Тогда же они неслись с калейдоскопической быстротой. Необыкновенная быстрота и связность мышления в критические моменты жизни — одно из отличительных моих свойств.

Чтобы пересказать все, что было мною в то время предумано и сделано, потребуется более получаса. Чтобы записать все это, надо втрое больше времени. В ту же ночь, когда я очутился лицом к лицу с надвинувшейся на меня опасностью, на обдумывание плана действий понадобилось всего несколько минут.

Помню, я сложил тетрадь и положил ее на колени. Помню, как, сам не зная зачем, я упорно пытался выпрямить пальцами выпуклый рубец, по-видимому, образовавшийся на клеенчатой обложке в то время, когда тетрадь складывали пополам.

В эту-то минуту я и подумал, что мозг мой охвачен горячечным бредом. Потом мне стало чудиться, что я сплю. Мысль эта показалась мне удивительно приятной. Стоит проснуться — и конец всему. Передо мной не будет ни письменного стола, ни горящей на нем лампы под низко опущенным зеленым абажуром, ни кресла, в котором я сижу, ни этой ужасной, лежащей у меня на коленях, тетрадки.

Стоит проснуться и я увижу себя в собственной постели. И все окажется по-старому.

— Вы спите, Джон Гарвей, — сказал я себе. — Слышите, вы спите. И в ваш отуманенный сном мозг лезет всякая чепуха. Я приказываю вам: проснитесь!

Я делаю движение и как можно шире открываю глаза. Но вижу все то же: стол и горящую на нем лампу. Я не лежу в постели, а сижу в кресле. И на коленях у меня все та же проклятая тетрадка. От сделанного мною движения она начинает скользить вниз и падает на ковер. Шелестят раскрывшиеся страницы.

Встаю, выпиваю стакан воды и несколько раз быстро прохожу из угла в угол комнаты. Слышу заглушенный ковром стук каблучков и ясно ощущаю каждое свое движение.

Значит, я не брежу и не сплю. Значит, все — страшная явь. Все, все. И дневник, и гнусный замысел Джорджа, и угрожающая мне и всему острову опасность.

Первым моим чувством — было чувство гнева и негодования против человека, являвшегося источником стольких страданий для горячо любимой мною женщины. Именно за это я возненавидел его мгновенно самой острой ненавистью. О том, что Джордж самым грубым образом нарушил законы гостеприимства, что он, дважды обязанный мне жизнью, намеревался самым подлым образом заплатить мне злом за добро, я уже не думал.

Однако, хотя и постепенно, но очень скоро я перенес свое негодование против самой Мэри. В конце концов, чем она была лучше своего любовника? Во-первых — вольно или невольно, это другой вопрос — она разделяла с ним его жизнь, а следовательно, и все содеянные им гнусности. Во-вторых — так или иначе, она содействовала злым умыслам

моего врага. В-третьих — она надругалась над моим слепым доверием к ней, как к женщине. Она — развращенное, а может быть, и развратное по самой своей натуре существо. Что до того, что она стала такой помимо своей собственной воли? Не все ли равно, отчего прекрасное и здоровое на вид яблоко имеет гнилую, горькую и полную червей сердцевину?

Оттого ли, что болезнь привита ему искусственно, или оттого, что оно в самом своем зародыше носило уже ее зачатки? Тому, кто вздумает откусить от него, это совершенно безразлично.

Так или иначе — Мэри оказалась не такой, какою я считал ее. И так или иначе, она обманывала меня.

Она оказалась плодом, прекрасным снаружи, но с сердцевиной горькой и насквозь прогнившей. Человек, откусивший от такого плода, бросает его. Значит... Значит, и я должен поступить так же. Я должен отбросить Мэри от себя. Далеко и навсегда.

На одно мгновение меня смутила мысль, что Мэри, по видимому, любит меня горячо и вполне искренне и бескорыстно. Но я сейчас же отбросил и эту мысль. Я никогда не держался мнения, что любовь искупает все и все собою покрывает. Этот ни на чем не основанный взгляд свойствен, к сожалению, очень многим людям и особенно женщинам. Последние за любовь, хотя бы даже и призрачную, готовы простить избраннику своего сердца всякие творимые им мерзости и гнусности.

Джон Гарвей, милостивые государи, никогда не думал так. Для него черное осталось черным всегда и при всяких обстоятельствах.

Я твердо решил окончательно порвать с Мэри. Во-первых, потому, что она оказалась недостойной моей великой и первой в жизни искренней любви, а во-вторых... Во-вторых — жениться на любовнице такого человека, как Джордж... Нет, — это слишком.

Надо сжечь свои корабли. Это — естественное решение вопроса. Следовательно — оно единственно верное и непогрешимое. Каким образом провести его в жизнь и насколько

ко подобная вивисекция моего чувства окажется болезненной — это уже детали.

Итак, еще одно разочарование. Тридцать девятое. Самое горькое и самое тяжелое. Но зато и последнее. Я твердо решил это.

Покончив с первым вопросом, я перешел ко второму, гораздо меньше говорившему моему сердцу, но несравненно более грозному. Этот вопрос касался замыслов Джорджа. Что он задумал? Я перебирал в уме все возможности, строил самые невероятные гипотезы, но ничего не мог придумать. Внезапно я вспомнил о том, что в дневнике мисс Мэри упоминалось о какой-то записке, вложенной в конверт вместе с тетрадью. Где же эта записка? Я не видал ее.

Я сунул руку в валявшийся на столе конверт, в котором был принесен дневник, но там никакой записки не оказалось. Заглянул под стол, под кресло — тоже ничего. Но когда я стал рассматривать конверт на свет — записка отыскалась сразу же. Очевидно, она прилипла к намазанной клеем части его при запечатывании. Я оторвал записку.

Строки были набросаны очень неровно и торопливо.

«Мой милый, мой дорогой, — читал я. — Я знаю, что Вы никогда не простите мне моего обмана и моего невольного предательства. Но у меня нет выбора: остается или раскрыть мою позорную тайну, или молчать и погубить не только Вас, но и всех обитателей острова. Я предпочитаю сделать первое. Знаю, что сама себе подписываю приговор, но Ваша жизнь и благополучие для меня дороже моей чести и моего счастья.

Жорж затевает что-то страшное. Что именно, я не знаю. План должен быть приведен в исполнение сегодня ночью. Час мне тоже неизвестен. По некоторым данным могу предполагать, что Жорж начнет действовать между двумя и пятью часами. Немедленно после получения дневника, прочтите его. Может быть, он даст Вам ту нить, отыскать которую я не в силах. Да поможет Вам Бог и пусть хранит Он Вас. Если бы вы знали, как я страдаю. Если можете, поймите и простите. Несмотря на все, я люблю Вас и только

одного Вас. Я знаю, что свое покаяние и предупреждение я делаю слишком поздно. Но — лучше поздно, чем никогда.

Ваша Мэри».

С этого мне нужно было начать. Я взглянул на часы. Было без двадцати шесть. Не веря своим глазам, я отдернул плотную штору — на дворе было совсем светло.

Лучше поздно, чем никогда...

От всей души, от всего сердца я проклял автора этого идиотского изречения.

Ни разу в жизни судьба не пошутила надо мной более зло, чем в ту ночь. Я получил дневник в десять часов вечера. Если бы я сразу нашел записку, то, конечно, немедленно уселся бы за тетрадь и окончил бы к часу или немногим позже ее чтение. У меня было бы достаточно времени, чтобы предупредить замысел Джорджа.

Вместо этого я играл в бридж, пил вино и вел благодушные разговоры с друзьями.

Черт возьми... Черт возьми....

В одну ночь потерять любимую женщину, веру в людей, покой безмятежного существования, а может быть, и жизнь.

Это было слишком много. Даже для меня, привыкшего ко всяким неожиданностям.

И вдруг тревога моя улеглась.

Мне пришла в голову одна мысль. Вернее — одно сопоставление.

Согласно указанию в записке Мэри, Джордж должен был привести свой план в исполнение приблизительно между двумя и пятью часами ночи. А сейчас было шесть. Я жив, кругом тишина и спокойствие. То же самое было и в продолжение всей ночи. Следовательно... Следовательно, было совершенно ясно, что Джорджу и в эту ночь, как и в предыдущую, не удалось осуществить свой план. Вчера ему помешал туман, сегодня что-нибудь другое. Что? Почему я знаю. Мне известно только одно: в следующую ночь ему помешаю уже я.

А Мэри? Судя по ее дневнику, она не очень будет огорчена таким исходом. Что же касается до ее тайны, то об этом никто и никогда не узнает. Она может жить на острове, сколько ей заблагорассудится. Конечно, о возобновлении наших отношений не может быть и речи, но это не мешает мне быть любезным хозяином.

Я сунул дневник вместе с запиской в конверта и решил спрятать его, пока что, в средний ящик письменного стола, где у меня хранились все вообще важные документы.

К моему удивлению, ящик не открывался. Я вынул ключ, осмотрел его и, убедившись по характерным и сложным нарезам, что это именно нужный мне ключ, снова вставил его в замок. Результат был тот же.

Было ясно, что замок испорчен. Но кем?

Внезапно мне все стало понятным. И пристрастие Джорджа к чтению, и его отказ от вчерашней прогулки на «Плезиозавре», и его заявление Мэри о том, что он узнал все, чем интересовался.

Каким образом он мог узнать это? И от кого? Конечно, не от меня. Тем менее, могли сообщить Джорджу, интересующие его сведения трое моих ближайших друзей. А кроме нас четверых в дело не был посвящен никто из остальных обитателей острова.

Оставалось допустить одно, а именно, что Джордж предательски использовал данное ему мною разрешение посещать мой кабинет и выкрал хранившиеся в письменном столе секретные планы и карты.

Я ни секунды не сомневался, что такому преступному проходимцу, как Джордж, в совершенстве известны все шорвки взломщиков и громил. Весьма возможно, что у него были даже отмычки. А если и нет, то он, во всяком случае, имел достаточно времени, чтобы снять слепки со всех замков стола и посредством простого напильника заблаговременно приготовить нужные ему ключи. Если это делают с успехом взломщики из подонков, то, конечно, для такого человека, как Джордж, подобная работа была совершенным пустяком.

Даже сейчас, когда опасность уже миновала, я не могу простить себе того, что в свое время отказался от предложения Гюи Смита, уговаривавшего меня вделать в стену кабинета массивный несгораемый шкаф.

— Совершенно излишне портить стену, старина, — сказал я тогда Гюи. — Я вполне доверяю подбору людей, который сделан Стивенсом, и нахожу, что с меня совершенно достаточно и письменного стола. Этот шкаф будет гораздо полезнее поставить в комнате кассира.

Гюи покачал головой, но согласился.

На мое несчастье.

Внимательно осмотрев замочную скважину, я обнаружил на ней крохотные кусочки воска. Кроме того, возле скважины среднего ящика оказались две едва заметные царапины. Очевидно, Джордж, возясь с замком, нервничал и движения его руки были недостаточно твердыми.

Больше не могло быть никаких сомнений: Джордж хозийничал в моем столе.

Мне надо было во что бы то ни стало убедиться, не похищены ли карты с нанесенным на них островом, планы минных заграждений и план моего коттеджа с изображенным на нем тайником для хранения всего золотого запаса.

Так как замок среднего ящика по-прежнему не поддавался, то я взломал его. Приподняв толстую кипу бумаг, лежавших в левом углу, я вздохнул с облегчением: планы были на месте и лежали в том же порядке, как и всегда.

Может быть, Джордж просто искал денег? Но я сейчас же выбрал себя за подобное предположение идиотом. Джордж преступник слишком крупного масштаба, чтобы польститься на пять, десять или даже двадцать тысяч долларов.

Это слишком мелкая игра для него.

Следовательно...

Что может быть ясней? Джордж оставил планы в столе. Но это безразлично, он все равно украл их. Он снял с них копии — вчера в его распоряжении был целый день.

В приступе злобы я с такой силой стукнул кулаком по резной ручке кресла, что едва не вскрикнул от боли.

Туман, туман... Теперь мне все понятно.

И вчерашняя отсрочка, и купание Джорджа.

Сунув в карман револьвер, я в четыре прыжка очутился у лестницы, ведущей на веранду партера. Я пробежал ее, hall, длинную анфиладу прочих комнат и очутился перед дверью спальни Джорджа. Я громко постучал. Молчание. Постучал еще раз — уже очень сильно и продолжительно.

Опять никакого ответа.

Я дернул за ручку двери. Заперто.

Когда я разбудил Джефферсона и Гопкинса и мы взломали дверь — в комнате никого не оказалось. Я не был удивлен. Я ждал этого. Но зато впервые за пятнадцать лет я заметил неподдельное удивление на лице Джефферсона. Оно вспыхнуло в глазах почтенного слуги еще в тот момент, когда он увидел, с какою яростью его господин принялся сокрушать дверь в комнату своего столь уважаемого раньше гостя. Джефферсон имел такой необычный вид, что если бы не серьезность момента, я, вероятно, рассмеялся бы. Но тогда мне было не до смеха.

В комнате Джорджа царил тот специфический беспорядок, который всегда сопровождает внезапный и поспешный уход. Я не стал обыскивать комнату. Это было бы бесполезно.

Я бросился к комнате мисс Мэри — может быть, Джордж там. Но когда открыли дверь, и вторая спальня оказалась пустой.

Птичка улетела... Чтобы вернуться со стаей коршунов.

Не знаю почему, но с того момента, как намерения Джорджа сделались для меня ясными, где-то в моем подсознании родилась нелепая надежда на то, что Мэри останется на острове. Все говорило против этого: и содержание дневника, и характер Джорджа и здравая логика. И все же до той минуты, пока не была взломана дверь, я все еще надеялся. Действительность показала, насколько неосновательными были мои надежды.

Только сейчас, когда я убедился, что Мэри исчезла, я понял, как она мне была дорога и как я любил ее. Недавно принятое мною героическое решение о разрыве с этой жен-

щиной растаяло, как туман под лучами утреннего солнца. Оно уступило место безнадежному отчаянию. Я забыл о том, что Мэри обманула мое доверие, что она развращенная любовница Джорджа, что она, хотя и невольно, но все же была соучастницей преступления, направленного против меня и всего острова.

Я хотел только одного: вернуть ее, видеть ее снова, слышать ее голос, ощущать ее ласки. Быть ее слугой, рабом, вещью. Мои друзья, мои миллиарды, весь остров, которым я так гордился, сама жизнь — каким ничтожеством показалось мне все это в сравнении со счастьем сидеть у ног Мэри. Только сидеть, и больше ничего. Сидеть, смотреть, слушать и любоваться.

Страшная тоска сжала мне сердце при мысли, что счастье утеряно навсегда. Навсегда...

Это слово прозвучало в моем сознании, как звон погребального колокола. Меня вдруг охватила такая слабость, что я прислонился к косяку двери. Ноги мои как-то странно дрожали и мне стоило большого усилия дойти до кресла и опуститься в него. Но я вспомнил о присутствии молчаливо и почтительно стоявших слуг и взял себя в руки. Я вспомнил о том, что действовать надо было немедленно, решительно и быстро. Если даже дело и не поправимо, то, во всяком случае, все возможные попытки сделать следует и должно.

— Джефферсон, — обратился я к камердинеру, успевшему уже придать своему лицу обычное каменное выражение, — позвоните сейчас же по телефону адмиралу Стивенсу, полковнику Колльриджу, капитану Джонсону и командиру грузовой субмарины. Скажите, что я извиняюсь за беспокойство в столь необычный час и прошу их немедленно и как можно скорее явиться ко мне.

— Слушаю, сэр.

Джефферсон вышел.

— А вы, Гопкинс, — продолжал я, — позвоните по другому телефону в базу и скажите дежурному, что я приказал сейчас же разбудить команды «Плезиозавра» и «Виргинии». Через четверть часа всем быть на судах. «Плезиозавр» из-

готовить к полету, а грузовую субмарину к выходу в море. Затем ждать на борту дальнейших распоряжений.

— Слушаю, сэр.

Было ровно двадцать минут седьмого. Припадок слабости и тоскливо-беспомощного настроения миновал так же внезапно, как и наступил. Надо было действовать и действовать энергично. Я решительно поднялся с кресла и сделал уже два шага к двери, как вдруг взор мой случайно остановился на постели Мэри с разбросанными на ней в беспорядке принадлежностями. И тотчас же по ассоциации мыслей я вспомнил, что, по словам миссис Стивенс, Мэри, передавая ей пакет с дневником, вынула его из-под матраца. Почти не отдавая себе отчета в совершаемом, я быстро подошел к кровати и начал сбрасывать на пол все, что было на ней.

Когда очередь дошла до верхнего тонкого тюфяка, под ним оказался небольшой, неправильной формы клочок бумаги. Предчувствие не обмануло меня: это была записка.

Я жадно схватил ее и быстро пробежал глазами.

«2 часа 45 мин. утра.

Только что приходил Жорж. Заставив меня очнуться от дремоты, в которую я впала незадолго перед тем, он сказал, чтобы через десять минут я готова была следовать за ним. Я решительно отказалась. Жорж пожал плечами и равнодушно произнес: “Я предложил это тебе в твоих интересах и в интересах мистера Гарвея. Ты же его любишь? Так вот, будет гораздо лучше для него, если ты согласишься сопровождать меня. Впрочем, как хочешь. Твое дело”. Могла ли я отказаться после этого? Я сказала, что иду и спросила только, куда и зачем. На первый вопрос Жорж ответил: “О, очень недалеко”, а на второй сказал, что я узнаю это через несколько минут. Ужасная тревога томит меня. От этой ночной прогулки я не жду ничего хорошего. Надежды, которые я возлагала на посланный Вам дневник и на приложенную к нему записку, рухнули. По-видимому, Вы или не

получили их или... Нет, я боюсь даже думать об этом. Что будет? Боже, Боже.

Мэри».

Из записки я узнал немного. Но кое что все-таки узнал, а именно — момент бегства. Как удалось Джорджу увести с собой Мэри — можно было только догадываться. Я не стал тратить на это время.

Для меня почти не подлежало сомнению, что Джордж бежал на одном из двух электромоторных ботов, имевшихся на острове. Стоянкой этих ботов была не главная база, а небольшая искусственная бухта на юго-восточной части побережья.

С моря она отлично была замаскирована деревьями и в ней, благодаря ее узости и большой длине, было тихо даже в самую бурную погоду. Боты никогда и никем не охранялись — во-первых, на острове не было ни одного человека, который собирался бы бежать с него, а во-вторых, минные заграждения сами по себе внушали достаточно уважения. В тихие вечера мы катались иногда на ботах вокруг острова, в пространстве между ним и ближайшим поясом заграждений.

Каким образом Джордж решился плыть через них, — мне было непонятно. Возможно, что, купаясь как-нибудь на рассвете или поздно вечером, он умудрился, незаметно для постовых, снять некоторые мины с якорей и переместить их в другое место. Тогда в первом поясе с мелко сидящими минами мог образоваться промежуток, достаточный для прохождения бота. Мины же второго и третьего поясов сидели достаточно глубоко, чтобы не опасаться их. Если так, становилась понятной и вчерашняя отсрочка. В тумане Джордж боялся не найти прохода.

Я прошел к себе и, позвонив в базу, приказал спешно разузнать относительно ботов. Через десять минут я получил ответ. Как я и думал, одного из них не оказалось. Большого и быстрого.

Затем я позвонил на наблюдательные посты и справился, не было ли видно сегодня на рассвете какого-либо судна.

С восточного поста я получил очень утешительный ответ. Оказалось, что при восходе солнца в северо-восточном направлении некоторое время виднелась на горизонте небольшая точка. Очень скоро она совершенно исчезла с глаз.

— Заметили ли вы при этом дым? — спросил я начальника поста.

— Нет, сэр, никакого дыма не было. Я полагаю, что это была субмарина.

— Хорошо, — сказал я. — Это все, что мне нужно было узнать.

Я был глубоко убежден в том, что виденная на горизонте точка — не субмарина. Эта точка могла быть только ботом, на котором бежал Джордж.

Взятое им направление показывало, что он решил плыть не прямо к континенту, на восток, а немного севернее. Сделать это он мог с единственной целью: выйти на линию пароходных рейсов и быть подобранным одним из них. На месте Джорджа я поступил бы точно так же. Пересекать океан в направлении континента, подвергая себя опасностям внезапной бури, было бы без сомнения безумием.

ГЛАВА XVI

Стоя на палубе «Плезиозавра» и наклонившись через перила, я совершенно отчетливо видел с высоты, как Стивенс, помахав фуражкой, послал мне последний привет и сошел в рубку. Затем палубный люк захлопнулся и, спустя минуту, «Виргиния» начала погружаться в воду для прохождения туннеля, соединявшего гавань с океаном. Некоторое время ее темный силуэт, напоминавший собою гигантскую рыбу, был еще виден мне довольно ясно. Но скоро он стал

расплывчатым и бесформенным и постепенно исчез совершенно, слившись с темнотою глубины.

Монотонное жужжание пропеллеров, по мере ускорения темпа вращения, начинало переходить все в более и более высокий тон. Вместе с нарастанием тона увеличивалась и быстрота подъема корабля.

Благодаря необыкновенной прозрачности воздуха, я с высоты шести тысяч футов, даже без помощи бинокля, с удивительной ясностью различал малейшие детали острова.

Когда я несколько секунд упорно смотрел на него, мне начинало казаться, что не мы поднимаемся кверху, а остров стремительно уплывает куда-то вниз. От этого становилось жутко и захватывало дыхание.

Непередаваемое ощущение, каждый раз охватывавшее меня при подъеме на большую высоту, свежесть прозрачного, кристаллически-чистого воздуха, синева безоблачного неба и дивный вид залитого лучами утреннего солнца океана с одиноким островом на нем — все это на время притупило чувство острой тревоги и смягчило мое тоскливое настроение.

На одно мгновение мне снова почудилось, что действительность — не более, как игра моего воображения, что не было ни появления на острове пришельцев с континента, ни событий последнего времени, ни переживаний сегодняшней ночи.

Да, так мне почудилось. Но когда я оторвался от перил, когда я увидел вахтенного лейтенанта, напряженно оглядывавшего сквозь стекла морского бинокля горизонт — я разом стряхнул с себя все грезы. Затихшая на время тревога перед неизвестностью и тоска по дорожному мне существу охватили меня с удвоенной силой.

Я едва не поддался приступу безнадежного отчаяния, но присутствие лейтенанта заставило меня вовремя овладеть собой. Я поднял бинокль и в свою очередь начал исследовать горизонт. Ничего. Только в нескольких милях впереди нас, предшествуемое белым треугольником пены, быстро двигалось по поверхности океана темное тело. Это была «Виргиния». Судя по белому гребню впереди ее носа и по

тому, что она заметно становилась все меньше и меньше, я понял, что Стивенс не жалеет машин.

Острая свежесть воздуха, пронизывавшая все тело, легкое головокружение и чувство сонливости и апатии заставили меня прервать свое занятие. Через пять минут свежесть сменилась резким холодом. Становилось трудно дышать.

— Какая высота? — спросил я капитана Джонсона, спускаясь вместе с вахтенным в рубку, чтобы надеть теплые кожаные куртки и шлемы.

— Двадцать одна тысяча футов, сэр, — ответил Джонсон, взглянув на anerоид.

Подыматься выше было бесполезно. Если мы не обнаружили беглецов до сих пор — значит, они вне поля нашего зрения.

— Стоп! — сказал я.

Пропеллеры изменили темп вращения и жужжание их стало несколькими нотами ниже. Несколько минут корабль неподвижно висел в воздухе. В течение этого времени я и вахтенный при помощи сильной подзорной трубы обследовали горизонт. Но единственной точкой, которую мы заметили — была субмарина Стивенса.

Когда мы снова опустились до пятнадцати тысяч футов, я подал знак следившему за мной со своего места Джонсону.

Он наклонил голову и, отняв правую руку от штурвала, нажал кнопку машинного телеграфа. Резко прозвучал ответный звонок и в то же мгновение лопасти огромных горизонтальных пропеллеров дрогнули, пришли в движение и с глухим гудением, равномерно, но непрерывно увеличивая поступательную скорость, начали вращаться вокруг своей оси.

Через пять минут мы неслись в северо-восточном направлении с быстротой двухсот километров в час.

Над нами по-прежнему ярко сияло солнце и ласково голубело южное небо. Но внизу поверхность океана начала застилаться дымкой. Дымка становилась все гуще и гуще и понемногу стала переходить в кучевые облака.

Это явление доставило мне и всем нам искреннюю радость. Тучи давали нам возможность оставаться незамеченными для беглецов. Я очень боялся, как бы Джордж, заметив погоню и видя, что дело его проиграно, в приступе злобы не учинил бы какого-либо насилия над Мэри.

Облака сгущались очень быстро и вскоре совершенно скрыли от наших глаз поверхность моря. Мы снизились еще больше и пошли чуть-чуть повыше клубившейся под килем корабля, густой массы туч. Вахтенный, сидя в кабинке, которая была спущена вниз на длинном стальном тросе, каждые десять минут сообщал в рубку по телефону результаты наблюдений.

.
.

Максимальная скорость электромоторного бота не превышала тридцати узлов в час. «Плезиозавр» же, при нормальных условиях полета, в тот же промежуток времени покрывал пространство в двести километров. Переводя километры на узлы, я без труда высчитал, что при обычном ходе мы имели бы преимущество в скорости в три с лишком раза. Но наблюдательная кабинка значительно замедляла наш ход. Таким образом, я мог рассчитывать настичь беглецов через два и три четверти часа, т. е. около одиннадцати часов утра.

Так было бы при условии непрерывного полета. Однако лететь все время было далеко не в моих расчетах. Опасаясь за участь Мэри, я положительно не решался спускаться в море на глазах у Джорджа. Мой план был иной: я решил тотчас же после того, как наблюдатель сообщит мне о том, что бот замечен им, снизиться на поверхность океана и продолжать преследование уже под водою. Это давало мне возможность обнаружить свое присутствие в самый последний момент, что было большим плюсом в мою пользу. Однако не менее значительный плюс имелся и в пользу Джорджа: при подводном преследовании, я очень проигрывал в скорости, и, теряя около двух часов времени, мог

настигнуть бот только около часа дня. Я рисковал тем, что Джордж к этому времени успеет выйти на линию паромных рейсов и будет подобран каким-нибудь судном. Тогда победа уйдет из моих рук. И тогда я никогда больше не увижу любимой женщины. О грозных последствиях неудачи для себя лично и для всего острова нечего уже было и говорить.

Тем не менее, я все-таки решил держаться намеченного плана. Лучше утратить Мэри, но знать, что она жива, чем видеть ее мертвой. А что Джордж, заметив преследование, не оставит ее в живых — в этом я не сомневался.

— Положитесь на свое счастье, старина, — сказал я себе. — Положитесь на него. И все будет хорошо.

Счастье... Нет, счастье мне изменило. И судьба зло насмеялась надо мной. Очень зло. Разве не ужасная насмешка все то, что случилось? На склоне лет впервые познать истинную любовь, любить самому, быть любимым и...

Приступ страшной тоски снова охватил меня. И снова сердце мое сжалось перед неизвестностью. Удастся ли мне победить судьбу и наново завоевать свое утерянное счастье? Или меня ждет поражение? О, тогда... Я боялся даже и думать о возможности такого исхода.

Вынужденная бездеятельность, неутешительные доклады из наблюдательной кабинки и зловещее, монотонное гудение воздуха, порождаемое остротой хода, отнюдь не способствовали улучшению моего настроения. Фантазия моя разыгрывалась и рисовала мне самые печальные картины. То мне чудилось, что близкой моему сердцу женщины уже нет в живых; то казалось, что ее отношения ко мне были действительно нечестной злонамеренной игрой; то представлялось, наконец, что мы гонимся по ложному следу и что Джордж отплыл от острова вовсе не в направлении линии паромных рейсов, а совершенно в ином.

Я положительно не находил себе места, то метался из угла в угол по обширной рубке, садился в кресло, то поднимался к Джонсону и, став рядом с ним, тупо и бесцельно смотрел вперед сквозь иллюминаторы наблюдательной башни. Но ничего, кроме ярко-синего неба и волнующейся

под нами густой массы темных туч, я не видел. И не мог, конечно, увидеть.

Милостивые государи, — если вам пятьдесят пять лет, никогда не допускайте, чтобы в вашем сердце вспыхнула любовь к очень молодой и очень красивой женщине. Даже и в том случае, если вы можете рассчитывать на взаимность. Джон Гарвей, мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка говорит вам это на основании собственного горького опыта. Очень горького — смею вас уверить.

Было без пяти минут десять, когда вахтенный сообщил из наблюдательной кабинки, что в трубу он ясно различает на горизонте небольшую точку.

— В каком направлении? — взволнованно спросил я.

— В направлении N. O. O., сэр.

— N. O. O.? Вы твердо уверены в этом?

— Совершенно уверен, сэр.

— Может быть, это «Виргиния»?

— «Виргиния» далеко позади нас. Она идет тем же курсом, что и мы. Курсом N. O., сэр.

— А что за судно впереди нас?

— Совсем крохотное. И так как не видно дыма и нет, по-видимому, никакого признака парусов, то я думаю, что это и есть наш бот.

— Вероятно. А какова погода внизу?

— С минуту на минуту будет ливень.

— А море?

— Море спокойно, сэр. Полный штиль.

— Хорошо. Сейчас вас подымут наверх.

Джон Гарвей, вы недаром положились на свое счастье: в тропический ливень может спуститься совершенно незамеченным корабль, в десять раз превосходящий размером «Плезіозавр».

Поистине — судьба благоприятствовала мне, как никогда еще. Надо было поставить в известность Стивенса, а затем... Затем гончие пойдут по горячему следу.

Я снял трубку радио-телефона и дал условленный вызов. Я не боялся, что кто либо подслушает нас: аппараты «Плезіозавра» и «Виргинии» были поставлены на опреде-

ленное количество колебаний. Для других аппаратов наш разговор был совершенно неуловим.

Через секунду послышался отзыв и затем очень неясно донеслись слова, произнесенные голосом Стивенса:

— Алло! Кто у аппарата? «Виргиния» слушает.

— Говорит «Плезизавр». Это я, мой друг.

— Кто? Говорите громче. Эти проклятые тучи совершенно заглушают ваши слова.

— Это я, Стивенс, я, — сказал я, сильно повышая голос.

— Слышите теперь? Говорит Гарвей.

— Слышу, — последовал ответ. — В чем дело?

— Нами замечено на горизонте судно. По-видимому, это наш бот. Он идет курсом N. O. O. Я сейчас ложусь на воду.

— Ложитесь куда?

— На воду, на воду. Я постою немного на месте и дам вам подойти поближе. А затем начнем преследование.

— Каким курсом мне идти?

— Если вы продолжаете идти N. O., то возьмите на четыре румба вправо. Я выберу курс с таким расчетом, чтобы захватить беглецов в вилку.

— Захватить что? Ничего не слышу: ливень такой, что над головой шум не меньше, чем от Ниагары. Что захватить?

— Надо взять курс беглецов в вилку. В вилку — понимаете?

— Понимаю. Вы спускаетесь?

— Если ливень надолго, то нет. При таких обстоятельствах я могу подойти очень близко совершенно незамеченным.

— Конечно. Дождь на несколько часов, если не дней. Вы настигнете их раньше меня. Но я тоже не очень запоздаю.

— Да, поторопитесь. До свиданья.

— До свиданья.

Я дал отбой.

.
.

Когда, по моим и Джонсона расчетам, беглецы были впереди нас всего на пять-шесть миль, я отдал приказание снижаться.

Остановились поступательные пропеллеры, медленно завращались вертикальные, послышалось характерное шипение выпускаемого газа — и через мгновение яркое солнечное освещение рубки сменилось тускло-сумеречным и призрачным. Мы погрузились в густую массу тяжело клубившихся туч. Вместо недавней яркой синевы за стеклами башенных иллюминаторов виделась непроницаемая, молочно-сизая, плотная пелена тумана.

Мы пронизывали его сверху вниз в течение добрых десяти минут. Затем мало-помалу стало светлее, между туч начали образовываться промежутки и ровное серое освещение ненастного дня сменило гнетущий сумрак. В то же время потоки ливня с силой застучали по наружной поверхности палубы. Пустота между стенками корабля усиливала шум и делала его настолько оглушительным, что разговаривать можно было только при значительном напряжении голоса. Стекланный купол башни звенел и по нему, как и по чечевицам иллюминаторов, непрерывными каскадами струилась вода.

Стивенс был прав: такой дождь мог продолжаться несколько дней. В такую погоду я мог подойти незамеченным почти вплотную к боту. Зато и увидеть его было нелегко.

Еще через двадцать минут мы неслись по поверхности плескавшего под струями ливня океана.

Я, лейтенант и вахта из четырех матросов, все с ног до головы одетые в резину, ни на секунду не покидали палубу.

.
.

Как оказалось, мы взяли абсолютно правильное направление. Около полудня обладавший острым зрением лейтенант заметил сквозь завесу дождя на очень незначительном расстоянии впереди нас неясные очертания бота.

Скоро увидел его и я. Характерные, хорошо знакомые всем нам очертания суденышка рассеяли последние сомнения: перед нами были беглецы.

Желая как можно дольше остаться незамеченными, мы растянулись пластом на палубе и я, просунув голову в люк, отдал Джонсону последние приказания. Сердце мое бешено стучало и я испытывал такое волнение, как никогда в жизни. Никогда — ни до, ни после этого дня.

.
.

Все произошло просто. Проще, чем я думал. Шум ливня позволил нам подойти к боту вплотную. Считал ли Джордж себя уже в полной безопасности, или же утомление бессонной ночи и монотонное плескание дождевых струй усыпили его бдительность, но он заметил опасность только в тот момент, когда бот покачнулся, слегка задетый правым бортом скользившего по инерции «Плезиозавра». В ту же секунду я и почти одновременно со мной лейтенант прыгнули на корму бота.

Матросы последовали за нами. Несмотря на отчаянное сопротивление, Джордж был схвачен и обезоружен. Но победа далась нам недешево. Очень недешево: у одного из матросов была прострелена повыше колена нога, другому рукояткой револьвера было выбито несколько зубов, а все мы, вообще, получили изрядное количество ссадин, царапин и синяков. Кроме того, Джордж стрелял в Мэри, но по счастью промахнулся. Точно так же окончилась неудачей и его попытка покончить в последний момент с собой.

Когда Джордж был наконец связан, я бросился к Мэри. Мы ничего не сказали друг другу. Ничего. Но наши глаза говорили за нас. И я думаю, что этот немой разговор был красноречивее самых пылких восклицаний и самых громких фраз. Да, милостивые государи, я так думаю.

Кроме того, я думаю, что вряд ли во всем мире был человек счастливее меня в тот момент, когда любимая мною, чудом возвращенная женщина оказалась в моих объятиях.

Я обнял ее при всех. И, уверяю вас, мне не было ни капельки стыдно.

Дождь не переставал лить, поднявшийся ветер яростно рвал мокрые концы моей развязавшейся зюйдвестки и морщил низкими валами поверхность зловеще насупившегося океана, — а мне казалось, что стоит ликующий день, пронизанный золотым светом солнца, что веет легкий, освежающий ветерок. То же казалось и Мэри. Так, по крайней мере, впоследствии говорила она мне. И мне кажется, что она говорила правду. Одну правду.

Ибо в таких случаях женщины не лгут.

ГЛАВА XVII

Сегодня, приводя в порядок свой письменный стол, совершенно неожиданно нашел в одном из его нижних ящиков тетрадь с моими заметками. Машинально, пропуская целые тирады, пробежал я глазами первую страницу. Но уже со второй я начал читать внимательно и просидел далеко за полночь, до тех пор, пока последняя строка дневника не была прочитана.

В эти два-три часа Джон Гарвей, мистер Джон Гарвей из Нью-Йорка, бывший клерк «Торгового дома Бурбенк и Сын» и бывший властелин обоих континентов Нового Света, пережил заново все то, что случилось с ним четыре года назад. Все. И знакомство с женщиной, с которой судьба связала его на всю жизнь, и зарождение чувства к ней, и внутреннюю мучительную борьбу, и свое поражение в этой борьбе, и разочарования, и опасения, и тревогу.

— И вот, когда дочитана была последняя страница тетради, я вместо того, чтобы закрыть ее и снова положить в стол, перевернул лист, взял перо и начал набрасывать эти строки.

Мне хочется дописать то, что осталось незаконченным. Мне хочется соединить минувшее хрупкой нитью воспоминаний с тем, что составляет мое настоящее. Самая красивая симфония без заключительного аккорда теряет половину своей прелести. Пусть же эти строки будут заключительным аккордом моей жизненной симфонии. Аккордом моего светлого и большого счастья.

Сперва, впрочем, несколько строк о другом. Только несколько строк. Я всегда был педантом и потому непременно хочу записать в эту тетрадь все, что касается настоящего периода моей жизни. Пусть даже это «все» местами будет неприглядным, тяжелым и печальным. Это ничего. Лишь конец повести должен быть благополучным и приятным. А он таким и будет. Требования, которые предъявлялись некогда к авторам моей родины, будут мною строго выполнены.

А теперь о событиях последних лет.

Все известия, полученные по радио за этот год, весьма утешительны. В Старом Свете порядок восстановился. Конечно, относительный. Раны, очень глубокие раны, всем народам придется залечивать еще чрезвычайно долго. Во всяком случае, кризис миновал и мир, бывший тяжело больным все эти долгие годы, начинает выздоравливать. Когда он исцелится окончательно и по-прежнему твердо встанет на ноги — другой вопрос. Разрушать в миллион раз легче, чем созидать.

Однако, есть и хорошая сторона в том кровавом урагане страданий и смерти, который бушевал над человечеством в течение стольких лет. Эта хорошая сторона — низвержение ужасного красного кумира. Кумира, которому так долго служил обезумевший мир. Он низвержен, разбит, растоптан. И с ним погибла жалкая утопия о земном рае.

Опыт — великий учитель. Только пройдя сквозь горнило неслыханных страданий, сквозь горнило голода, болезней, смерти и попрания всех человеческих прав — поняли народы, кому они служили. Поняли и увидели, что красный символ земного рая есть в сущности символ крови.

В море этой крови захлебнулся красный Молох.

Потом все, конечно, забудется. И новый безумец породит новую безумную утопию о том, как осчастливить человечество. Найдутся апологеты и последователи нового учения. И снова за призрачную идею будут всходить на эшафот десятки тысяч людей, и снова преклонится человечество перед новым кумиром. И будут люди видеть только один его светлый лик — символ любви, братства и всеобщего счастья. А другого, искаженного ненавистью, злобой и страданием, другого, залитого кровью — не заметят. И в ослеплении расшатывают колесо судьбы, и толкнут его. И повернуть, немного — всего на пол-оборота. А когда бывшие наверху очутятся внизу, снова начнется бесконечная сказка.

Сколько тысячелетий этой сказке? Не так давно геологи вычислили по консистенции находимых в земной коре крупинок урана и гелия, что возраст нашей планеты равен приблизительно полутора миллиардам лет. А история дает нам сведения только за последние десять тысячелетий. И то весьма скудные. Сколько же было периодов упадка и возрождения? И сколько еще будет?

От монархий до анархий. От анархий до монархий. Вот амплитуда колебаний жизни народов. Сейчас настает эпоха монархий, являющихся плодом реакции. Монархия в России, монархия в Австрии, монархия даже во Франции, где о ней давно забыли. Монархии растут, как грибы после дождя.

Увы, — на моей родине все еще царствует анархия. Шесть месяцев назад, желая убедиться, что там происходит, я пролетел весь материк от Панамы и до Гудзонова залива. И всюду я видел одно и то же: разрушенные города с валяющимися на улицах трупами людей; такие же разрушенные линии железных дорог; поля, поросшие репейником и сорными травами, плантации, снова превратившиеся в прерии. Я видел гавани, усеянные мелями, обвалившиеся плотины и шлюзы некогда судоходных рек; остатки пожарищ и груды развалин; затянутые илом каналы, жалкие скелеты «небоскребов», вокзалов, музеев и дворцов.

И так всюду. Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Монреаль, Квебек.

Одно и то же, одно и то же.

«И города будут пусты» ... — вспомнил я слова пророчества, данного почти двести лет назад. И тут же спросил себя: неужели все пожрал красный Молох? Взглянул на расстилавшуюся подо мной пустыню и ответил: по-видимому, все. Даже население.

Не мог же я считать населением те редкие и жалкие тени, которые бродили среди развалин и кучками толпились перед домами, на крышах которых развевались красные полинявшие флаги.

Где же те миллионы, которые населяли материк всего несколько лет назад?

— Где они?

И в жутком молчании расстилавшейся под нами пустыни я прочел ответ:

— Погибли.

Но пустыня солгала. Когда вечером, направляясь уже обратно к югу, мы неслись над возродившимися прериями, меня поразило странное явление: сквозь дымку ночного тумана, успевшего уже окутать землю, то тут, то там заблестели красноватые огоньки. Нет, я неверно выразился: красные точки мало напоминали своим видом пламя огней. Гораздо больше они напоминали собой поверхность огромного, медленно тлевшего фитиля. Рельефно выделяясь на темном фоне уснувшей земли, эти фитили тлели то в одиночку, то по два, то, наконец, целыми группами. Когда мы спустились ниже и полетели над прерией на высоте всего нескольких метров, — я нашел разгадку странного явления: красные точки оказались кострами, горевшими в глубоких, узких ямах. Подымавшийся из них дым смягчал яркость пламени и делал его совершенно матовым. Вот почему с большой высоты казалось, что по прерии разбросаны огромные тлеющие фитили.

Я понял все. Я понял, куда спасались от красного Молоха обитатели городов и населенных пунктов.

Сидевшие вокруг ям и освещенные отблеском огня страшные, тощие, как скелеты существа в изорванных и грязных лохмотьях были людьми, которые именовались некогда гражданами великого государства.

При нашем приближении подымался сдержанный тревожный говор. Скелеты начинали метаться и быстро гасили свои первобытные очаги. Очевидно, они принимали «Плезиозавр» за правительственный дирижабль.

Завтра, а может быть, и немедленно, они побегут искать нового убежища, в других, еще более глухих и диких местах.

Несчастные существа. И это — люди...

Три часа спустя, несясь над массивами Скалистых гор, мы видели те же зловеще мерцавшие огни в глубине неприступных ущелий, бороздивших самые высокие хребты. И здесь, в царстве кондоров и круторогих горных козлов, нашли убежище люди.

Звериная жизнь в болотах Миссисипи, в землянках покрытых репейником прерий и в гротах Скалистых гор... Это ли не достойный апофеоз повального безумия?

Старый Свет возродился. Его робкая вначале поступь крепнет с каждым днем. Но он до сих пор не делает никаких попыток помочь своему младшему брату.

«Америка — для американцев!» — говорит дряхлая Европа, зализывая свои раны. — «Америка — для американцев...».

Какое ей дело до болот Миссисипи и гротов Скалистых гор?

Что скажете вы на это, мистер Монроэ?

Думали ли вы о подобном применении вашей пресловутой доктрины?

Впрочем, пусть тень ваша не огорчается чрезмерно. Да, пусть не огорчается: одна из последних радио-грамм принесла известие, что Россия готовит в Америку какую-то военную экспедицию. И посылает продовольственные транспорты. Как видно, она не забыла помощи, оказанной ей в свое время Америкой. Но не забыла также и обид, нанесенных ей кое-кем другим. Выздоровев раньше прочих стран, она

уже вернула свое могущество. И начинает платить долги. Каждому — по заслугам. Каждому.

Между прочим, только благодаря России начинает налаживаться международная торговля. Суда ее военного флота рыскают по всем морям и ведут беспощадную борьбу с пиратством.

Тысяча извинений, милостивые государи! Я обещал, что посвящу мировому положению всего несколько строк. А на самом деле я написал несколько страниц. Чувствую, что я злоупотребил вашим вниманием и смертельно наскучил вам. Еще раз — тысяча извинений.

Сейчас я поведу речь о более веселом. И более близком моему сердцу. То есть о себе, своих личных делах и о лицах, давно вам знакомых. Словом, о том заключительном аккорде моей жизненной симфонии, о котором я упомянул в первых строках этой главы.

Через три дня, второго января, наступит знаменательный день. Это день, в который Джон Гарвей провел еще одну резкую разграничительную черту между отдельными периодами своей долголетней, благодарение Небу, жизни. В этот день он перестал быть старым холостяком. В этот день он потерял свою свободу и нашел свое счастье. Нашел окончательно

Да, четыре года назад, второго января, я с бьющимся сердцем входил в сопровождении своих шаферов в маленькую церковь нашей маленькой колонии. Я, старый человек, перенесший немало житейских бурь и ни разу не дрогнувший под их ударами, я в эти мгновения волновался, как мальчик.

Я и до сих пор не отдаю себе ясного отчета в том, что именно являлось причиной моего странного волнения и моей робости. Перед чем я робел? Волновала ли меня новизна положения, страшило ли меня прошлое женщины, которую я вел к алтарю или смущала, наконец, тревога за будущее, столь неопределенное еще в то время? Не знаю. Но, повторяю, сердце мое билось и замирало, как никогда в жизни.

Помню, когда наш милейший, всеми уважаемый старичок-пастор вложил в мои пальцы маленькие холодные пальчики Мэри, я почувствовал, что они дрожат так же, как и мои.

Как в тумане я помню конец обряда, поздравления друзей, сияющее лицо миссис Стивенс.

Самообладание начало возвращаться ко мне в тот момент, когда я, под руку с моей женой, направился к выходу из церкви. На пороге ее я чувствовал себя уже вполне нормально. Только настроение мое было неизмеримо радостнее. Когда же, стоя бок-о-бок с моей женой, выглядевшей в подвенечном наряде еще прекраснее, я увидел на небольшой площади перед церковью толпу радостно приветствовавших нас, одетых по-праздничному обитателей острова, я стал прежним Джоном Гарвеем. Мистером Джоном Гарвеем из Нью-Йорка.

К радостному настроению моему прибавилось еще чувство гордости. Источником ее было то почтительное и вместе с тем восторженное проявление чувств, которое выказывала забрасывавшая нас цветами толпа.

Добрые, милые люди!

Ведь, в конце концов, они были моими подданными. А в ком же из властителей не вспыхнет чувство гордости при виде проявления к нему любви его подданными?

И право, милостивые государи, когда поутихли крики и поулеглось волнение, я едва не сказал:

— Благодарю вас, мой добрый народ.

Но, по счастью, вовремя спохватился и сказал только:

— Благодарю вас, друзья мои.

И обнял каждого из членов поздравительной делегации.

Я счастлив. Очень счастлив. У меня есть любящая и страстно любимая жена. Красивая, обаятельная и умная. Жена — друг, а не только любовница. Мэри — женщина исключительная во всех отношениях: в ее лице судьба послала мне неоценимый дар. С каждым днем, с каждым часом я убеждаюсь в этом все больше и больше. И все чаще и чаще краснею при воспоминании о тех подозрениях, которыми

я мысленно оскорблял женщину, ставшую верной и преданной спутницей моей жизни.

Особенно тяжело мне вспоминать о том, что я одно время считал Мэри соучастницей преступного замысла. И думал даже, что она добровольно последовала за Джорджем при его бегстве с острова.

Я был несправедлив. Очень несправедлив. Только путем обмана и насилия удалось Джорджу увести Мэри с собой.

Лучшим подтверждением этого служит то обстоятельство, что после настижения бота, мы нашли Мэри запертой в его единственной каюте и притом с явными следами веревочек на руках и ногах.

Но довольно этих грустных воспоминаний.

Кроме жены, у меня есть еще сын. Здоровый и жизнерадостный мальчуган. Ему два с лишним года. Он высок и силен не по возрасту. Я думаю, что фигурой он будет походить на меня, а лицом — на мать. Мой сын будет сочетанием силы и красоты, а об остальном позаботятся его родители. В этом, милостивые государи, вы можете быть совершенно уверены. Совершенно.

Я очень люблю моего сына. Не знаю, впрочем, кто больше любит его: Мэри или я. Но кроме нас, его любят и вообще все, кто живет на острове. Миссис Стивенс от него без ума и доходит даже в своем обожании мальчика до того, что ревнует его к матери. Бедная миссис Стивенс! Ее всегдашней мечтой было иметь сына. Но сам Стивенс... На него не действуют никакие уговоры. Молчит, морщит озабоченно лоб и невероятно дымит сигарой. Ужасный упрямец. А впрочем, он ничего не делает без веских оснований.

Зато он так же балует Александра — это имя моего сына, — как и все. Я очень боюсь, что такое отношение испортит мальчика. Его балует даже Джефферсон. И он и Гопкинс любят моего сына самой нежной и трогательной любовью.

На этой почве они даже ссорятся. Недавно, проходя вдоль тыльной стороны коттеджа мимо кухонного подвала, я был свидетелем следующей сцены:

Сидя у стола и положив ногу на ногу, Джефферсон неторопливо и солидно доказывал что-то Гопкинсу. Рука ка-

мердинера, с дымившей между пальцами сигарой, делала плавные жесты, а носком правого ботинка он от времени до времени отстукивал такт. Вся поза почтенного слуги выражала глубокую уверенность в непогрешимости приводимых им тезисов, а осанка его и выражение лица были поистине профессорскими.

Из отдельных долетавших до меня слов я понял, что речь идет о недостатках и слабых сторонах парламентарного строя. Гопкинс, стоя спиной к собеседнику и сдвинув на затылок свой белый полотняный колпак, возился в это время у электрической плиты над огромной медной кастрюлей. По его глухим, отрывочным фразам, напоминавшим сердитое ворчание потревоженного медведя, я заключил, что он совершенно не согласен с мнением Джефферсона и ждет только момента, чтобы обрушиться на него. Этот момент настал. Камердинер закончил свою длинную тираду, стукнул в последний раз внушительно носком и, затаившись, пустил в потолок густую струю дыма.

— Так-то, дорогой Гопкинс, — сказал он. — Надеюсь, мои доводы убедили вас?

Давно кипевший повар дал волю своим чувствам.

— Убедили? Меня? — негодуя спросил он. И, повернувшись, с такой яростью сунул большую деревянную ложку в кастрюлю, что та соскользнула с края плиты и с оглушительным грохотом полетела на пол.

Джефферсон раскрыл было рот, чтобы рассмеяться, но вдруг, весь побагровев, вскочил с места.

— Вы с ума сошли, — зашипел он. — Положительно с ума сошли, Гопкинс... Разве вы не знаете, что маленького мистера Гарвея только что уложили для дневного отдыха? Вы стали совсем невменяемы... Этакий грохот...

Повар имел необычайно сконфуженный вид. Забыв и о своем гневе, и о пролившемся месиве, он смущенно пролепетал:

— Я думаю, Джефферсон, что шум не разбудил его.

Камердинер смерил повара с ног до головы презрительным взглядом.

— Вы думаете? Думают только индейские петухи, Гопкинс. Индейские петухи. Да еще такие старые ослы, как вы.

И, не прибавив больше ни слова, Джефферсон швырнул сигару и опрометью кинулся вверх по лестнице.

Минуту спустя, бесшумно войдя с веранды в комнаты партера, я застал Джефферсона у дверей детской. Он стоял на цыпочках и, весь перегнувшись в левую сторону, напряженно прислушивался.

Заметив меня, он сделал бесстрастное лицо и уже на ходу почтительно произнес:

— Я проходил мимо, сэр, и мне показалось, что мастер Гарвей проснулся. Я думал, не надо ли позвать няню.

И с достоинством удалился.

Удивительной преданности человек, этот Джефферсон.

Теперь несколько слов еще кое о ком. Именно о человеке, который, косвенно содействуя моему счастью, едва не явился в то же время для всех нас источником величайшей беды. Вы догадываетесь, конечно, что я говорю о Джордже. Его судьба очень печальна. Но вполне им заслужена. Вполне.

Я буду краток. Когда мы вернулись после преследования беглецов на остров, Джорджа заключили под стражу и суд должен был произнести над ним через несколько дней свой приговор. По законам острова приговор мог быть только один: смертная казнь. Джордж не дождался суда. За двадцать четыре часа до него узник был найден в своей постели мертвым. Рядом с ним на одеяле валялся крохотный пузырек. Он был пуст. Химический анализ остатков его содержимого показал, что оно было не чем иным, как кураре. Каким образом удалось Джорджу сохранить пузырек — неизвестно.

Что же еще?..

Да, скоро, очень скоро мы собираемся ехать в Россию. По всем имеющимся сведениям, нормальная жизнь в ней вполне восстановилась. Мэри думает, что нигде не живет сейчас так спокойно, как там. Я никогда не был в России и меня страшно тянет взглянуть на страну «неограниченных возможностей» .

Кроме того, нам наскучила «курортная» жизнь. Почти десятилетие растительной жизни — это слишком много. Слишком.

Так думаем мы с женой. Так же думают и наши друзья. А главное — так думает Джефферсон. А он неоднократно доказал уже мне, что умеет мыслить чрезвычайно здраво.

Итак, мы едем. Моим заместителем остается Стивенс. Конечно, мы уезжаем с острова не навсегда. От времени до времени мы будем приезжать сюда на несколько месяцев. Отдохнуть, пожить в чудном климате, повидаться с друзьями... И самое важное — снова пережить зарю нашего счастья.

Скоро, очень скоро расстанемся мы с нашим островом. Пора. Прояснился небосклон и солнце правды снова встает над миром. Пронеслась над человечеством еще одна буря.

Tout passe...

1922 г.

**) К странице 26.

Корпус судна имеет двести сорок пять футов длины и целиком сделан из «атранита», — недавно изобретенного металла, обладающего легкостью алюминия и крепостью стали. Первое из этих свойств необычайно важно для воздушного, второе — для подводного плавания.

Двенадцать специально сконструированных электрических двигателей, общей мощностью в тридцать тысяч лошадиных сил, приспособлены так, что порождаемая ими энергия переключается в несколько секунд с винтов корабля на его пропеллеры и обратно.

«Плезиозавр» развивает чудовищную скорость.

Носовая часть корабля, имеющего вид удлинненной сигары, снабжена необыкновенной прочности тараном из бихромистой стали. Этот таран в случае необходимости может пронизать подводную часть любого судна так же легко, как игла протыкает кусок сукна.

Вооружение «Плезиозавра» состоит из шести минных аппаратов, действующих силой сжатого воздуха. При полетах мины заменяются большими бомбами, сбрасываемыми через особые люки в дне судна.

Перископ заменен объективом особого устройства. Он состоит из плоской ромбовидной коробки, толстого, кристаллически-прозрачного стекла, с целой системой зеркал и стекол внутри. Эта коробка, двигаясь по вертикальному стержню параллельно поверхности воды, немного ниже ее уровня, остается совершенно незаметной для постороннего наблюдателя и ничем не обнаруживает присутствия судна. Посредством сложных приборов на экран во внутрь рубки чрезвычайно отчетливо передаются изображения всех предметов, находящихся в сфере действия объектива.

Благодаря усовершенствованным приборам, поглощающим испорченный воздух и вырабатывающим свежий, «Плезиозавр» может оставаться под водой в течение целого ряда дней.

Таковы достоинства корабля, как субмарины. Не менее значительны они и в тех случаях, когда «Плезиозавр» переходит из водной стихии в воздушную. Переход этот совершается чрезвычайно просто. Если судно движется по поверхности воды, маневр занимает не более пятнадцати минут времени.

Действием соответствующих рычагов застопориваются машины и через батарею стеклянных труб с особым химическим веществом пропускается электрический ток. Результатом этого является мгновенное выделение в огромном количестве легкого,

обладающего исключительной подъемной силой газа. Он устремляется по отводным трубкам и быстро заполняет прежде всего камеры, которые при опускании судна накачиваются водой, а затем и все пространство между двойными стенками корабля. Под давлением газа корпус судна начинает подниматься из воды. Затем откидываются герметические крышки двух желобов, идущих вдоль бортов корабля по его палубной поверхности, и поднимаются лежащие в этих желобах стойки вертикальных пропеллеров. Пропеллеры, будучи приведены в действие, препятствуют кораблю перевернуться вследствие мелкой осадки и окончательно поднимают его на воздух. В то же время автоматически выдвигается на надлежащую высоту купол наблюдательной башни и кресло командира поднимается к аэронавтическим приборам.

Наконец, удлиняются выдвижными лопастями руль направления и рули глубины и приводятся в действие выдвинутые из пазов в носовой части судна горизонтальные пропеллеры.

ОБ АВТОРЕ

Вячеслав Яковлевич Куликовский (1885-1925) – выпускник Владимирского военного училища. Позднее учился в Военно-юридической академии. Был полковником лейб-гвардии Волынского полка.

Во время Первой мировой войны в ноябре 1914 г. был ранен под г. Лодзь. После революции сражался против большевиков в Вооруженных силах Юга России. Эвакуировался в 1920 г. из Одессы в Константинополь.

С 1920 г. жил в Германии, где занимался литературным трудом и сотрудничал с рядом берлинских издательств, в основном с издательством О. Дьяковой и К°. Опубликовал шесть книг стихов для детей, перевод «Макса и Морица» В. Буша, собственные романы и рассказы – мистическо-исторический «роман из жизни Древнего Востока» «Адонирам» (1921), «В дни торжества сатаны» (1922), книги «Женщина, которая изменила» (1921) и «Ее грех» (1922).

Скончался 14-го июня 1925 г. года после непродолжительной тяжелой болезни, не дожив месяц до своего 40-летия.

Книга публикуется по первоизданию (Берлин: изд. В. Сияльский и А. Крейшман, 1922) с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Имена и топонимы в основном оставлены без изменений.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.